

*Я видела страдания во тьме, но я также видела, как в самых неожиданных местах рождается красота.*

М/ф «Тайна Келлс»

## Лето первое

.....

### Мама и тётя

Каждый год, когда кончались уроки, были сданы учебники и отработана практика, я уезжала в лагерь. Как ребёнку матери-одиночки, мне полагалась бесплатная путёвка. Полагалась, однако, до четырнадцати лет включительно, а после десятого класса мне уже было пятнадцать с половиной. Шансов, что в таком солидном возрасте меня опять пригласят петь отрядные песни и маршировать на ужин в «Бирюсинку» или «Сказку», не оставалось никаких.

Дома заняться было нечем. Десятый класс благополучно — ну и пусть, что с четырьмя тройками за год, — остался позади. Одно время, ещё весной, я начала подумывать, что пора завязывать со всей этой школой и пойти получать какую-нибудь профессию. Хотя бы, например, повара. Кормить людей. Разве не полезное дело?

Я даже заикнулась об этой своей задумке маме. — Мам, а что, если я заберу документы прямо сейчас, не пойду в одиннадцатый и буду учиться на повара?

Она поморщилась, как от какого-нибудь неприятного звука:

— Чего?..

— Ну, поваром стану, там, ПТУ закончу...

— Чего-чего?

Чувствуя себя на редкость глупо, я повторила:

— На повара пойду, в училище выучусь...

Мама подняла глаза к потолку и произнесла только одно слово, зато с чувством:

— Гос-споди!

— Я знаю, что не очень хорошо готовлю... Так ведь там научат. Целых два года учиться. Практика же будет... — залепетала я.

— Сиди уже! — внезапно крикнула мама. — Чуть какую-то мелет. Повар с шести утра на ногах! Картошку путём пожарить не можешь. В школу

пойдёшь. Не выгнали — и слава Богу. К репетитору по математике будешь ходить.

Слова были привычные, но всё-таки мне стало обидно.

— Я ещё суп из сайры умею варить! И песочное печенье мы с Ольгой делали по книжке!

Я закончила десятый класс и весь июнь томилась дома.

Мама была постоянно чем-то занята. Даже сейчас, в отпуске, она перебирала, протирала и перекладывала на другие места всяческие нужные вещи, вычищала грязь на обоих балконах, кипятила в громадной кастрюле воду, когда отключали горячее водоснабжение, и делала массу других полезных дел.

Она всегда работала, а мне долго отводила роль наблюдательницы. «Смотри и учись!» — советовала мама. Я и вправду смотрела, но большего мама мне не разрешала, дабы я ничего не испортила, не разбила, не разлила. Но в седьмом классе мама как-то до обидного внезапно стала требовать приготовленной еды, чистого пола, глаженного белья. Понятное дело, что ничего такого я не умела, хотя и смотрела на то, как это делается, целые годы. К тому же я привыкла, что сравнительно уютное существование мне всегда обеспечивает некто пусть вредный и ворчливый, но по-своему заботливый, и не могла привыкнуть к мысли, что этот порядок изменится.

Всё же, видя, что мама злится и упрямо требует от меня хозяйственных дел, я вооружилась книжкой «Для вас, девочки» и по ней стала учиться готовить простенькие салаты, жарить картошку, стирать носки и даже мыть полы. Я старалась, но мама обычно была недовольна. Однажды, когда я мыла обувь в коридоре, она начала кричать, что смотреть не может на это безобразие, выхватила у меня тряпку, пару раз больно хлестнув меня ею, велела убираться прочь и принялась домывать всё сама.

Готовить мне, впрочем, понравилось, и мы с подружкой Ольгой, вооружившись книжками, собирались у неё дома и колдовали на кухне. Первые блины пришлось выбросить собакам, песочным печеньем можно было заколачивать гвозди, зато однажды мы испекли такие шедевральные конверты из слоёного теста с сыром, что Ольгин

отец съел сразу четыре штуки. Кроме готовки, мы, как тогда было модно, плели разные «фенечки» из бисера, но в праздники и каникулы в основном, конечно, занимались дуракавалянием. Мы звонили по телефону и говорили на разные голоса, разыгрывая незнакомых тётенок, шарахались по улицам, переделывали на свой лад заданные в школе стихотворения и рассказы и потом хохотали над этими пародиями.

Мама у меня вставала раним-рано даже в выходные и работала практически всегда. С восьми до двух она трудилась на основной работе, с трёх до шести подрабатывала в детском центре, после ужина дома пельменями или варёной овощной смесью, а в восемь часов отправлялась мыть полы в небольшом офисе на первом этаже соседнего дома. В эту контору я частенько ходила вместе с ней, и по сей день слово «офис» у меня ассоциируется с мусорными вёдрами, пылесосом и тряпкой для пыли, с которой я ползала по верхам шкафов.

Мама жаловалась на то, что ей никто никогда не помогал и не помогает, но в то же время (как я стала понимать лет с двенадцати) гордилась этим. Даже вернувшись домой где-нибудь в половине десятого, она долго не ложилась спать: стирала и развешивала бельё, ставила варить курицу для супа, а иногда проверяла мою школьную сумку. Все самостоятельные работы на листочках, если там стояли двойки или тройки, я предусмотрительно выкидывала, но из тетрадей вырывать листы не рисковала, и тут-то мне попадало. Обычно несчастная тетрадка летела мне в голову с нелестными комментариями о моих умственных способностях. В воскресенье я покорно садилась за уроки, делала задания, в которых сколько-нибудь смыслила, а те, в которых не смыслила, всё равно выполнить не могла и поэтому с отрешённым лицом сидела за раскрытой книгой, пока мама рядом смотрела телевизор. И мечтала о своём, о девичьем.

Но больше всего я радовалась, когда приходила тётя Люба.

На самом деле она, конечно, не была для меня никакой тётей. Всего лишь маминной приятельницей. Мама сама говорила, что подруг у неё нет, потому что подруг имеют только те, у кого слишком много свободного времени, но всё-таки две хорошие знакомые у неё были. Я звала их тётей Томой и тётей Любой.

Тётя Люба жила в том же самом подъезде, что и мы с мамой, в такой же однокомнатной квартирке. Дома у неё стояли ничем не примечательные мебельный гарнитур и холодильник «Бирюса». Она покупала помаду того же цвета, что и мама, ела те же молочные сосиски и колбасный сыр, ездила в таких же автобусах и надевала на работу совершенно такие же, как у мамы, чёрные туфли-лодочки.

Но насколько же она отличалась в моих глазах от мамы, да и вообще от всех остальных людей!

Любовь Ивановна казалась мне очень красивой, хотя я никогда не могла бы точно объяснить почему. Она была невысокой, полной, с большой грудью и постоянно пыталась худеть. Но я считала, что худеть тёте Любе совсем не обязательно — она была сильной, гибкой, двигалась как-то очень ловко и гармонично.

У неё не было денег на дорогие украшения, и она покупала себе бижутерию из поделочных камней или вовсе пластмассовую. Бусики, серёжки, колечки были для неё как игрушки для ребёнка. Какую-нибудь очередную безделушку она показывала мне, хвасталась, примеряя, и в её зеленоватых глазах сверкала лукавые искорки. Но особенно я любила её голос: из него струилась какая-то магия; слушая тётю Любу, хотелось, чтобы она подольше была тут и продолжала говорить, причём неважно что.

Она иногда забывала вещи. Бывало, что опаздывала. На большом столе, где Любовь Ивановна кроила одежду (она работала швеей на дому, хотя по образованию была учительницей математики), часто валялись разные лоскуты ткани, булавки, нитки. В квартире у тётю Любы вообще никогда не наблюдалось идеального порядка, который так старалась вести у нас моя мама. Уборка у неё была быстрой: одной и той же тряпкой она могла протереть окна, потом стол, потом пол, а после всего вытряхивала с балкона коврик.

Однажды мама попросила её помочь с поклейкой обоев в коридоре. Тётя Люба заверила, что в этом деле она спец, и управилась за пару часов. Отужинала у нас, нахваливая мамину стряпню, и счастливо отправилась домой, не слыша, как мама причитает над криво обрезанными снизу полосками и вздувшимися пузырями.

У тётю Любы не было детей: один раз, как мне рассказывала мама, она родила мёртвую девочку, потеряла много крови и с тех пор не могла иметь ребёнка. У неё были только племянники от братьев и сестры, да ещё я.

Она была рядом с тех самых пор, как встретила мою маму из роддома. Мама считала, что я недоедаю, допаивала меня овсяным отваром, а оставшуюся кашу, чтобы не выбрасывать, доедала тётя Люба. Потом тётка ходила для меня за кефиром на молочную кухню. Ещё позже — шила наряды на Новый год.

Но сильнее, чем Новый год, я ждала тети-Любы дни рождения. Я звала маму спуститься на пятый этаж как можно раньше, чтобы подольше подышать этим воздухом предвкушения праздника, побыть среди всех этих улыбчивых приятельниц тети Любы — не таких красивых, как она, но тоже по-своему славных. Некоторые из них приходили с мужьями, и после ужина всегда были танцы. Если ставили что-нибудь весёлое, я тоже плясала, как могла, или (когда была поменьше) просто-напросто бегала от радости из комнаты

в кухню. Если ставили музыку медленную, то садилась на диван, обнимала колени и заворожённо смотрела на то, как танцуют взрослые. Тётя Люба обычно танцевала со своим Рустамом. Я была в курсе, что они неженаты и не живут вместе, а только встречаются, но почему это так — не знала, да никогда и не интересовалась. С меня было достаточно, что дядя Рустам почти такой же весёлый, как тётя Люба, и, кажется, любит её. Мне очень хотелось, чтобы мамину подругу любило как можно больше людей.

Я замирала от тихого восторга, когда на этих днях рождения тётя Люба выводила меня за руку из-за стола и шутливо объявляла:

— Ну а теперь, дамы и господа, товарищи, выступает народная артистка Октябрьского района Анастасия Иньякина!

Совсем маленькой, лет до восьми, я лихо надрывала Азизу:

Милый мой, твоя улыбка  
Манит, ранит, обжигает,  
И туманит, и дурманит,  
В дрожь меня бросает!

Меня и правда бросало в дрожь — понятное дело, не от милого, которого ещё быть не могло, а от сладкого волнения, оттого, что на меня смотрят люди и дарят мне свои улыбки, взгляды, нежность, называют Настенькой...

Тёте Любе тоже нравилось петь, но получалось у неё не очень стройно. Гораздо лучше она танцевала цыганочку под музыку из «Жестокое романса» или какой-то неизвестной мне мелодии с магнитофонной кассеты. Гости хлопали ей в ладоши, потом тётя Люба, царским жестом взмахивая бордовой с кистями шалью, кричала:

— Танцуют все! — и мужчины принимались притопывать и кружиться вокруг неё так, что в шкафу вздрагивали и позванивали рюмки.

Тётя Люба манила, кружила, лихо притоптывала каблукками красных туфель. Воздух комнаты насыщался запахами пота и разгорячённых тел, одеколона и духов, душистых роз и сваренного кофе. Цыганский хор рвался наружу из музыкального центра, ему вторили порывистые возгласы мужчин и женщин, и в хмельной круговерти праздника моё взволнованное, колотящееся сердце чувало какую-то безумную попытку преодолеть, прорвать этим гомомом, этой пляской мрачную тьмуну давившей в окна январской ночи. Музыка ставили по два и три раза, но рано или поздно обессиленная хозяйка падала на диван, вытирая влажное раскрасневшееся лицо, и вслед за ней все другие останавливались тоже. Потом румяная, немного захмелевшая тётя Люба наливала мне, наравне со всеми гостями, кофе, приносила торт. За тортом одна из подруг Любовы Ивановны, маленькая женщина с чёрными глазами, пела песню про город

золотой, кто-нибудь обязательно читал стихи, кто-то рассказывал про своих детей. Наконец, наступала пора разъезжаться, и гости, обнимаясь в прихожей и желая ещё и ещё раз имениннице всяческих благ, уходили один за другим в морозную чёрную стынью — до следующего праздника.

Я мечтала, что, когда вырасту и начну зарабатывать деньги, непременно принесу тёте Любе самый лучший подарок, что-нибудь такое, чего достойна только она. Пока что я рисовала ей пышные красные розы на сложенных в виде открытки листках.

До шестого класса мама проверяла все мои уроки, а математику и вовсе делала наполовину сама. Но после того, как она устроилась подрабатывать в офис, даже у неё не хватало сил на то, чтобы объяснять мне формулы и графики. Я стала ходить по вторникам и четвергам заниматься к тёте Любе.

Мы учились с ней два года, а потом почему-то прекратили, и после этого встречи с тётей Любой стали до обидного редкими. Она почти не заходила к нам: наверное, в её насыщенной жизни и без нас было много интересных дел. Даже когда мама случайно сталкивалась с ней в магазинчике или возле подъезда, они перекидывались лишь несколькими фразами.

— Что тёте Любе до наших проблем? — стала говорить мама. — У неё жизнь другая, детей нет. А у меня ребёнок, ты. Она не поймёт никогда, что ребёнок — это всё!

— Но у неё же есть племянники, — возражала я. — Это другое. Пришла, поводилась, в цирк сводила — это совсем другое. А ночей не спать, лечить, учить, одевать...

Я не слушала мамнины рассуждения. Только грустила.

## Моя эльфийская родина

Почти случайно узнав, что я в это лето скучаю дома, тётя Люба предложила взять меня к своей родне в деревню Мальцево, и моя родительница неожиданно согласилась.

Проснувшись в восемь утра, я поехала на вокзал, а потом, уже к обеду, пошла вместе с мамой в рейд по рынку. На наводнённом людьми жарком базаре запах был как из моего детства — пахло солнцем и пылью от асфальта, едкой резиной и сладковатым удушливым ароматом пластика от китайских шлёпок и костюмов.

Мы накупили самые разнообразные вещи для всех живущих в Мальцево тёти-Любиных родственников. Возраст родни существенно колебался — от грудного до старческого. Мама взяла ползунки и кофточки, шампунь и мыло, колбасу и грецкие орехи. Волновалась она чрезвычайно и от этого засыпала меня наставлениями:

— Едешь к чужим людям... Кто знает, как они тебя примут? Плохо будет — звони и возвращайся! Мало ли что... Слушайся там тётю Любу. Попросят

что-нибудь помочь—помогай, не сиди. В огороде там, полы помыть, посуду... Ты, конечно, не умеешь ничего путём, ну хоть не отказывайся всё-таки... На улице там побольше будь, дома не торчи, гуляй, в лес ходи. Только в лес не одна, с тётей Любой!—спохватилась мама.—Да, главное—ешь там! Я тебе тысячу дам с собой...

Я послушно продолжала кивать, понимая, что чем активнее соглашаешься, тем быстрее кончится наставление.

— Так, ну что ещё?.. Всё вроде. Ох... Ну, поезжай. Да смотри, очень долго-то там не сиди. Не к родной бабушке едешь...

Большая синяя сумка с надписью «Coca-Cola», просторный автобус красно-белого цвета—старомодный, как в советских фильмах, ритмичный, убаюкивающий гул диктора из динамиков, ласковый свет предвечернего солнца, шелест тополей— всё это складывалось в уютную картину тихого вечера, наполненного радостным предвкушением чего-то доброго и близкого сердцу.

Мы с тётей Любой устроились на креслах с высокими спинками.

Отодвинув синюю плотную шторку, я принялась смотреть в окно. Высокие дома уступали место одноэтажным избушкам, оживлённые улицы—зелёным картофельным полям, весёлым бело-розовым клеверным лугам, убегающим в лес широким земляным дорогам. Вместо городских тополей вдоль трассы стали всё чаще появляться берёзы и сосны, пока, наконец, автобус полностью не выехал из города, оставив где-то позади в сизой дымке строгие прямоугольные корпуса старого завода. Добрые солнечные лучи пронизывали насыщенную зелень сосен, трава мягко сияла изумрудным светом, на трассу ложился золотистый отблеск. Всю дорогу мир был для меня зелёно-золотым. Я вспоминала английскую легенду про Томаса-Рифмача, который однажды в лесу встретил королеву эльфов, облачённую в шёлковое зелёное платье и изумрудный бархатный плащ. Он сыграл ей на лютне, а потом поцеловал, хотя и знал, что за этот единственный поцелуй ему придётся служить королеве целых семь лет. Томас и королева оказались на развилке трёх дорог: одна, узкая и тернистая, была дорогой праведников; другая, нарядная и украшенная цветами,—дорогой порока; а третья, сплошь обрамлённая зелёным папоротником,—дорогой в зачарованную Эльфландию. Но прежде, чем они достигли прекрасной страны эльфов, им пришлось переходить вброд стремительные ручьи, наполненные кровью...

Тётя Люба убрала газету в сумку и задремала. Для неё эта поездка была одной из сотен. Она родилась в Мальцево и жила там, пока не окончила школу. Потом поступила в педагогический, попала по распределению в какой-то посёлок и, поработав там положенные три года, снова

вернулась в Красноярск, да так и стала жить в городе. При этом почти вся её довольно обширная родня осталась в Мальцево и других деревнях по соседству. Я знала в лицо далеко не всех, но имена приблизительно помнила: её родственники не раз бывали в городе, да я и сама после первого и второго класса приезжала в Мальцево, и уже потом мама стала отправлять меня по собесовской путёвке в загородные лагеря. Эти мои первые приезды были так давно, что я помнила от них совсем мало: красно-белый автобус, взволнованный стук сердца и всепоглощающий аромат луговых трав по пути к дому.

У тёти Любы были два брата и сестра, шестеро племянников и одна племянница, их мужья, жёны, прочие родственники и свойственники, а самое главное—мать.

Тёти-Любину маму звали баба Зоя, и она жила в Мальцево уже больше чем полвека, начиная с послевоенных лет. Там она вышла замуж и овдовела, там родила тётю Любу и других своих детей, там несколько десятков лет отслужила продавцом в местном сельпо. Теперь у неё уже было два правнука, ожидался третий, а тут ещё приезжали мы.

Вечерний ветер мягко перекачивал волны золотисто-зелёного травяного моря. Под ногами тихо, словно что-то шепча, шушшал гравий. Мне не хотелось ни о чём говорить, и тёте Любе, видно, тоже: она только пару раз останавливалась отдохнуть и размять руки, затёкшие от тяжёлых сумок.— Ну что, почти пришли,—сказала она немного уставшим голосом, когда, наконец, показались первые деревянные дома.—Во-о-он наша старушка Божия сидит!

Баба Зоя и впрямь сидела на скамеечке у низкого серенького забора палисадника. Её большие руки с узловатыми венами спокойно лежали на коленях: похоже, она вышла на улицу уже давно и загодя поджидала дочку. При виде гостей старуха мимолётно улыбнулась тонкими выцветшими губами. Тётя Люба, опустив наземь сумки, подбежала к матери, бережно приобняла её за плечи и рассмеялась:

— Ну, бабушенька, привет!

«Бабушенька» затряслась от тихого, почти беззвучного смеха и радостно посмотрела на дочь. Тётя Люба звонко поцеловала её в одну, потом в другую щёку.

Я смотрела на них с немалым удивлением, потому что совсем уже не помнила, когда в последний раз целовала маму или даже хотела это сделать.— А это Настя, соседка моя с девятого этажа. Помнишь ведь её? Я тебе говорила, что возьму с собой...

Баба Зоя, опершись сзади левой рукой о край заборчика, медленно приподнялась и внимательно оглядела меня с ног до головы.

— З-здрасьте...—промямила я.

— Ух, какá ты высокая, — покачала головой хозяйка дома то ли удивлённо, то ли слегка неодобрительно. — Ну, идите, заходите. . .

— Настька — она умница! — неожиданно похвасталась тётя Люба. — Через два года школу закончит, пойдёт куда-нибудь учиться. Не курит, не ругается, спокойная, добрая. . .

— Ну и хорошо. Ну и слава Богу, — кивнув, согласилась баба Зоя. — Чё в ей плохого? Я её помню, она же, маленька была, приезжала.

— А мать боится, что будет нам в тягость.

— В тягость? С чего? Нянчить её не надо, не два года ей. Картошка всегда у нас есть, крупа, рожки. Силосы всяки. . . Когда и конфетка бывает. Чай-то будете?

Я с удовольствием согласилась. От тёплого чая стало уютней, и тут я вспомнила про свои сложенные в одной из сумок дары. Я не знала, как надо их преподнести, что говорить, но как-то всучивать было надо.

— Это вот. . . Это вам. . . всем, отдали, то есть купили. . . в подарок, от моей мамы, — смущённо и бестолково объясняла я, выкладывая на стол пакеты с едой и вещами.

Баба Зоя спокойно и деловито стала принимать гостинцы, изредка отпуская какой-нибудь одобрительный комментарий наподобие «пригодится» или «пойдёт тому-то». Продукты она оставила на столе, набросив на них чистенькое вафельное полотенце, а одежду сложила обратно в сумку и отдала дочери.

— Матери своей кланяйся за нас, — сказала баба Зоя и потихоньку, осторожно ступая босыми набрякшими ступнями по расстеленным всюду половикам, перешла из кухни в комнату, к старенькому телевизору.

Тётя Люба тоже села смотреть телек, по очереди щёлкая то на первый, то на второй канал.

— Давайте СТС включим? — предложила я.

— Так у нас два канала. У бабушки тарелки нет, ей как-то незачем.

Баба Зоя обернулась к ней с вопросительным выражением лица:

— Люба, чё она спрашивает?

Та принялась громко объяснять:

— Я Насте говорю, что телевизор у тебя много каналов не жает! Только первый и второй!

— А-а, ну, это да. . .

Смотреть чёрно-белую картинку мне было скучно и непривычно. Я посидела со взрослыми всего несколько минут из вежливости, а потом, легонько скрипнув тяжёлой деревянной дверью, скользнула обратно на улицу.

Мои босые ноги переступили с шершавых досок крыльца на мягко пружинящую траву. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Казалось, будто воздух здесь такой густой, что им не дышать нужно, а пить его. Напротив скромной

бабы-Зоиной избушки стояла ещё парочка домов поновее и побольше, а дальше, чуть правее, начинался привольно шумящий берёзовый лес. Сейчас его окутывал сизый сумрак, на глазах сгущающийся в плотный покров ночи. От щедро расточаемого солнцем золота осталась одна тусклая оранжево-розовая полоса, рассеянная среди лёгких тёмных облачков. Кругом было затишь, только где-то вдали, с реки, слышался глухой шум мотора, и оттуда тянуло свежестью.

Я стояла до тех пор, пока лес совсем не погрузился в темноту и из сонного оцепенения меня не вывел тёти-Любин окрик:

— Настёна, поздно, давай домой!

Точно стряхнув чары, я поспешно убежала в дом, заперев дверь на крючок.

Мне приготовили в дальней комнатке деревянную кровать, непривычно высокую, с большой подушкой в белоснежной наволочке. Здесь, внутри, запахи были уже другие: сухого дерева, мебельного лака, старого белья, пыли — но они мне тоже нравились и вместе с прохладным лёгким одеялом убаюкивали меня, заставляли смежаться веки. Уже сквозь сон я угадывала шаги тёти Любы и бабушки, слышала, как был выключен телевизор и дом погрузился в безмолвие. Тишина теперь была повсюду. И я плавно вошла в неё.

Назавтра я открыла глаза только в половине десятого и сильно смутилась, что проспала так долго. Наскоро одевшись и стянув свои длинные волосы в хвост, я вышла на кухню. Бабушки там не было, а тётя Люба катала из теста какие-то галушки.

Мы сделали ленивые вареники и поели их со свежайшей сметаной. После завтрака тётя Люба вскипятила в чайнике воды, вылила её в тазик, разбавила холодной.

— Здесь мой, а потом в чистой ополоснёшь.

С этими словами она ушла куда-то по своим надобностям. Я с удовольствием принялась за работу. Надо же, только объяснили в первый раз — и уже поручили дело!

Тарелки поскрипывали под нажимом полотенца. Я бережно составила их в буфет, так же аккуратно протёрла ложки.

— В гости не хочешь пойти? — спросила меня вернувшаяся тётя Люба.

— А то!

— Тогда бегом!

Мы пошли по шуршащему гравию, подставляя лицо лёгким порывам встречного ветра. Я глазела по сторонам. Всё здесь было слишком непохожим на город — вернее, на места, где мне приходилось жить до сих пор, потому что всего города я, конечно, не знала. Домики вдоль по улице стояли все одноэтажные, кроме старого здания клуба в четыре этажа, выкрашенного тёмной зелёной краской. Рядом с клубом, сбоку, примостили какую-то

облезлую статую девушки, да по центру перед входом красовался неработающий фонтан.

У придорожного магазина играли ребятишки: качались на цепях — загрязнении для автомобилей, возились в сером, смешанном с камешками песке. Все они были в цветных китайских сланцах, с загорелыми лицами, быстрые, как маленькие молнии. Взрослых было мало.

Мы остановились напротив места, которое в старых книжках называется ярмом. Это была высокая площадка, покрытая буйно растущей изумрудной травой, откуда начинался обрыв. Через просветы в листве берёз виднелись воды Енисея.

Стоило чуть тронуть калитку серого, ничем, кроме своей величины, не примечательного дома, как меня оглушил лай собак. Я поневоле вздрогнула и вцепилась тётке в руку.  
— Не бойся, не бойся, — подбодрила та. — Ты просто иди за мной.

Псов во дворе оказалось с добрый десяток, но все они, кроме круглобокого чёрного щенка, были привязаны. Самого грозного я заметила в углу — лохматое серое существо в добрую половину человеческого роста, с горящими глазами и уж, наверное, клыками не тупее пары хороших перочинных ножинок. Ни дать ни взять Серый Пёс из скандинавских легенд, который наводил ужас на всю округу.

— Цыц! Тихо!

Голос внезапно появившейся хозяйки заставил собак мгновенно улечься. Вслед за тётей Любой я вошла в дом через холодные просторные сени и присела к широкому боку светло-голубой печки.  
— Чай будете?

— Давай, — охотно согласилась тётя Люба. — Знакомьтесь, девочки: это соседка моя, Настя, а это Лена, Саши, племянника моего, жена.

Я с робким интересом взглянула на девушку. На вид ей казалось не больше двадцати лет. Лена была одета в просторный спортивный костюм, явно с чужого плеча, скрадывавший очертания фигуры, но по хрупким запястьям и тонкой шее можно было понять, что она стройная, если не сказать, что худая. На овальном загорелом лице больше всего выделялись тёмные, плавные и широкие дуги бровей, про которые в книжках говорят «соболиные». Босые ноги девушки были запачканы землёй.

Дверей внутри дома не было, из маленькой кухни проходы вели в две комнатки: одну тёмную, из которой я видела лишь диванчик, заваленный одеждой, и другую, поменьше, но посветлей. Пока пили чай, в доме стояла тишина, только во дворе изредка мычала корова да кудахтали куры. Казалось, будто в доме, кроме нас троих, нет никого. Но потом послышался лёгкий шорох и стук, и из второй, светлой, комнатки в кухню вышла маленькая девочка, одетая в голубенькое мягое платьице.

— Анюта, доча, — хрипловатым, но ласковым голосом позвала её Лена и поманила к себе рукой.

Опять мне пришла пора удивляться. Такая молодая — и уже с ребёнком? Чудеса!

Девочка взяла наверху печки бутылочку с молоком и блаженно растянулась вместе с ней на ногах у матери, пока не выпила всё до капли.

Она была так похожа на большую куклу, что мне страшно захотелось взять её себе на колени, чтобы убедиться, точно ли это живая девочка. Я протянула к ней руки и замерла в ожидании. Анюта поднялась на ножки и медленно, но уверенно зашагала ко мне.

Я обняла её, зашептала какие-то хорошие слова. Перебирала льняные прядки, пахнущие молоком и какой-то особой сладкой свежестью.

— Ты смотри, как она уютно устроилась, — с удивлением заметила Лена. — Не помню, чтобы к кому-то вот так шла. Наверное, человек хороший.

Налив себе ещё чайку, они стали вспоминать каких-то незнакомых мне людей, обсуждали их, говорили что-то насчёт ремонта в доме, насчёт растущих цен — словом, вели обычный женский разговор.

— Хорошо с вами сидеть, да дела ждут, — наконец заявила Ленка. — Огород, свиньям наварить, полы помыть... Давай, тётка, покурим да пойдём. Будешь?

— Я-то буду, а тебе не хватит ли, мать? Рожать скоро...

Только после этих слов я увидела под Ленкиной безразмерной олимпийкой круглый живот.

Она потянулась за коричневой пачкой «Тройки». — Нет, тётя Люба, не уговаривай. Пить бросила в семнадцать лет ещё, как решила тогда — не пью и не буду, а от этого отказаться не могу, хоть и Сашка ругается. Но я иначе психовать начну. Сама же не бросаешь? Ну вот...

Покурив, Лена проводила нас до калитки. Ещё долго, идя по улице, я слышала её хрипловатый сильный голос, которым она сзывала собак, а потом выкрикивала что-то через забор соседке.

Через пару-тройку дней я выучила по именам всю тётю-Любину родню. Братьев звали Павел и Виктор: первый жил в другой деревне, а второй не уезжал из Мальцева, женился и родил двоих сыновей, на время первого моего приезда уже взрослых лбов старше двадцати лет. Всю жизнь провела в родных местах и тётю-Любина сестра Зина, недавно схронившая мужа. Она была на четыре года младше Любови Ивановны, но выглядела старше: возраста прибавляли острые скулы, набухшие нижние веки да сильно потрескавшаяся кожа на натруженных руках. У братьев были сыновья, и тётя Зина тоже вначале родила Александра и Николая, прежде чем в младшем поколении бродниковской родни появилась наконец девочка Дарья.

Я в то или иное время видела всех шестерых племянников тёти Любы. Все они были людьми одного типажа: с широкими скуластыми лицами, рыжеватыми или светло-русыми мягкими волосами и светлыми глазами.

После того визита к Ленке тётя Люба сводила меня к своему младшему брату — дяде Вите, потом к сестре, потом ещё к сватам — тихим старичкам, которые жили неподалёку в пропахшем кошками домике. Сваты были родителями жены тёти-Любиного брата. Встречаясь со всеми этими людьми, я удивлялась, сколько же у человека может быть сродников. Своего отца я не знала совсем, тем паче его родственников, а у мамы из родни была только сестра в Комсомольске-на-Амуре да её муж и сын.

Здесь, в Мальцеве, меня никто не воспринимал в качестве ребёнка, и меньше всего — баба Зоя. Через три месяца, в середине сентября, ожидалось моё шестнадцатилетие, а для старухи это был вполне себе брачный возраст. В глазах бабы Зои никак не считался ребёнком и родной внук, младший сын тёти Зины Николай, у которого в восемнадцать с половиной лет родился маленький Виталька, самый первый бабушкин правнук. А за старшего внука Сашку, которому несколько лет назад стукнуло двадцать пять, баба Зоя всерьёз начала переживать и поговаривать: «Ох, не женится!». Успокоилась она только тогда, когда тот привёл в дом Ленку, тогда ещё едва шестнадцатилетнюю, и стал с ней жить в той комнате, где я теперь ночевала.

К своим пятнадцати годам я успела прочитать книжку Дюма про королеву Марго, да потом ещё посмотреть сериал, и про себя окрестила бабу Зою королевой-матерью. Понятно, не из-за коварных интриг, какие плела при французском дворе старшая Медичи, а из-за того, что она была родоначальницей такого огромного, по моим понятиям, семейства. На восьмом десятке она прекрасно помнила и знала почти всё про своих детей, внуков и правнуков и пыталась устроить их бытьё так, как ей казалось верным. А верной, как я скоро поняла, баба Зоя считала семейную жизнь: одинокий человек был для неё как бы и не совсем человеком, потерявший жену или мужа — несчастным, живущий без детей — несчастливцем вдвойне.

Меня никто не окружал особенным вниманием, не расспрашивал о школе. Иногда я могла сесть на крыльцо и задуматься о чём-нибудь на полчаса, и никто не говорил мне, что давно пора вставать и куда-то мчаться. Никто не одёргивал меня, не поправлял. За своей одеждой я следила сама. В самые первые дни было немного непривычно, что мне дают столько свободы, но скоро я начала чувствовать огромную благодарность за такое отношение. Чем больше мне разрешали быть одной и делать то, что я хочу, тем больше меня тянуло к людям, к их разговорам и делам.

Понятно, что я практически ничего не смыслила в тракторах, сортах помидоров, породах лошадей, но мне хотелось чувствовать себя на равных с приходившими в дом людьми. Хотелось чувствовать свою причастность к этой трудной, но интересной для меня жизни. Я полюбила мыть посуду и втайне радовалась, когда на ужин к бабе Зое приходило побольше человек или тётя Люба затевала какую-нибудь готовку: тогда посуды оставалось много, и, перебив её всю, я знала, что сделала полезное для всех дело. Мне нравилось кипятить воду в старом, облепленном серовато-белой накипью чайнике, окунать ковш в свежую ледяную воду из бака в сенях, где пахло молоком и скошенной травой.

Но больше всего я полюбила ходить босиком по ласковой мягкой земле, чувствуя, как из неё поднимается живительное тепло. Я мяла пальцами шершавые листья земляники и пахучей мяты, гладила ветки смородины, собирая с них в небольшое пластиковое ведёрко агатовые крупные ягоды. Смородиновые, малиновые, крыжовенные кусты казались мне такими красивыми, что хотелось заботиться о них, как о живых существах. — Девка все сорняки подчистую в огороде вылола, ягоду побрала, — хвасталась тётя Люба Ленке, Саше, бабе Зое. — Настька, слушай, у нас же ещё вон ирга стоит необобранная. Ты бы залезла на неё завтра да пособирала, а то птицы склюют. . . — А где? — удивилась я. — Я смотрела, там вроде зелёные ягоды. . .

— А наверху-то! Там только с лестницей забираться.

— Ты у нас девка высокая, глядишь, и лестницы не надо, — улыбнулась Лена.

Над моим высоким ростом уже не раз подшучивали: со своими ста сёмюдесятью шестью сантиметрами я была на полголовы, а то и на голову выше всех представителей бродниковской родни.

В тёплый пасмурный день мы поехали за грибами. Мы — это тётя Люба, Настя, Санька, младший тёткин племянник Никола с женой Полиной и ещё одна, незнакомая мне до того дня, женщина с весёлым круглым лицом. Лена осталась дома с ребятишками.

Выйдя из дома, я в ступоре встала перед гудящим трактором.

— Ну, забирайся, чё ли, — сказал Санька.

— А как забираться-то?.. — замаялась я.

— О-о! Видно городскую барышню, — добродушно фыркнула тётя Люба. — Давай на руках подтягивайся — и за борт.

— Прямо так?! — изумилась я. — А вдруг не дотянусь?..

— С такими-то ногами?!

Я подтянулась на руках, ступила ногой на колесо и, к своему удивлению, легко оказалась внутри

трактора. Впрочем, сказать про этот трактор «внутри» можно было очень условно—бортиков у него не имелось.

— А как держаться-то?—решилась я спросить, когда все уже аккуратно расселись: кто на полупустой мешок, кто на ящик, кто—прислонившись к задней стенке кабины трактора.

— Зубами за воздух цепляйся,—посоветовал Санька.

Мы долго ехали по сырой дороге. Жирные пласты земли прилеплялись к колёсам трактора, мимо лиц летели чёрные комки. Потом сырость кончилась, дорога стала ровной, красивой, ровные молодые берёзки убаюкивающе шумели густой листвой. Трактор потряхивало на кочках, но не до такой степени, чтобы поминутно думать о том, как бы не свалиться, и очень скоро я почти совсем перестала бояться; правда, крепко вцепилась на всякий случай в верхушку наполненного чем-то тяжёлым целлофанового мешка.

Когда добрались до места, грибов оказалось столько, что я могла срезать их, даже не поднимаясь на ноги. Нежные синие, белые, светложёлтые цветы остались в подарок весне и раннему лету. Теперь наступила пора уверенных цветов, ярких красок. Опушки пестрели рыжими пятнами лисичек, пышными тёмно-розовыми саранками. Чуть пореже встречались крупные лиловые колокольчики с листьями, похожими на крапивные.

По грибы я никогда не ходила, но от подружки Оли знала, что её отец брал на даче маслята и подберёзовики. Изредка ему попадались белые, но их всегда было немного. А тут—настоящее пиршество! Срезанные лисички мы складывали вначале в пакет, а потом высыпали в большой рогожный мешок. Через пару часов и мешок оказался полон—настала очередь второго.

Домой вернулись к вечеру. Ужин сготовила тётя Люба: жареная картошка, салат из огурцов, редиски и зелёных перцев. Санька ворчал, что редиска уже старая и дряблая, а перцы можно было бы не трогать, побережь. Никола с Полиной ели всё молча, накладывали добавки, пили чай, жадно жуя пряники, а потом как-то очень быстро подскочили и ушли, сунув в карманы ещё по прянику. Вослед им Санька полуснисходительно-полупрезрительно обмолвил:

— Голодающие с Поволжья.

Баба Зоя ещё раз оценивающе поглядела на грибной урожай, коротко одобрила:  
— Ничего.

Я уже была уверена, что старуха всегда так скупа на похвалу, всегда сдержанна, но вдруг увидела, как она подошла к Саньке и ласково, даже с каким-то трепетом, погладила его сухой рукой по груди.  
— Как живёшь-то, внучек?—с той же лаской прошелестела она.

— Живём, хлеб жуём!—отозвался он словами моей мамы.

— И то ладно. Сашенька... Погляди, чё это на губе у меня? Болячка кака?

Санька бросил острый, пронизательный взгляд на лиловое пятно над губой и ядовито усмехнулся:  
— Сифилис, баба!

Старуха ничуть не рассердилась и даже ничего не возразила, просто так и осталась около Сашки, может быть, наблюдая, не нужно ли будет ему ещё чего-нибудь принести. Не то чтобы видя, а скорее, угадывая её услужливость, Санька смягчился и почти ласково произнёс:

— Баба, я пошутил. Простуда, наверное. Иди отдохни.

— А-а,—кивнула старуха и послушно побрела в своё кресло.

На кухне нас осталось трое—Санька, Настя и тётя Люба.

— Как у вас, для ребёночка всё готово?—поинтересовалась тётка.

— А чё ему надо? Конечно, всё. Кроватку вторую у Кармановых купил, собрал. Тряпки там Ленка взяла, что надо. Мать пелёнок ещё нашла.

— Ждёшь?

Санька яростно забрякал ложкой о край стакана.  
— Ждёшь, не ждёшь... Один раз родила—другой раз родит. Чё делов? Раньше в поле рожали.

— Пацана хотел, да?

Санька вскинулся:

— Тётка, чё ты вот в душу лезешь? Кто родится, тот родится. Ты если хочешь встрять—лучше собралась бы да помогла. Стайку надо почистить, Ленка не может уже, то болеет, то устала, то ещё чё. Вот пошли лучше, чем вопросы задавать!

Тётя Люба спокойно встала из-за стола, оправила кофту.

— Ну, пошли.

Я начала убирать со стола, складывать масло, сметану, остатки салата в холодильник. Тётя Люба взяла меня за руку.

— Доченька, я, может, долго не буду... Похоже, я им там нужна... Ты грибами займись, ладно? Чистить же умеешь? Почисти все, в кладовке у бабушки там тазы стоят у входа, я уже пригостила. Почисти, в воде холодной сполосни и порежь. А потом я вернусь, мы их сварим и заморозим. Ладно, Настёна?

— Да, тётя Люба, конечно!—пообещала я.

Дома, на полу летней веранды, грибы выглядели скромнее, чем в лесу, но всё равно их количество поражало воображение. Я высыпала в таз половину первого мешка и, усевшись на низкий стульчик, начала работу. Чистить лисички было легко: знай убирай прилипшие листья да сухие сосновые иголки. Однако через какое-то время стала побаливать спина, оттого что приходилось долго сидеть в наклон.

— Чаю нальёшь мне стаканчик? — позвала баба Зоя.

Я вскипятила и налила ей чаю, принесла к телевизору, но сама отдыхать не стала, боясь, что не успею управиться к приходу тётки Любы и подведу её. Второй мешок пошёл не так легко, а впереди была работа сложнее — резать грибы.

«Чёрт их знает, — думала я, — как их резать-то: крупно, мелко?!»

Решилась спросить у бабушки, но та ответила непонятно:

— Как хошь, так и режь. Всё съедим.

За все свои пятнадцать лет я не привыкла, чтобы мне доверяли хоть какое-нибудь серьёзное дело. А тут, оказывается, режь как хошь! Сама!

Я накромсала партию, встала со стульчика, размялась немного. За окном потихоньку темнело, перестали облаивать прохожих соседские собаки. Тётя Люба не возвращалась.

— Чё-то её долго нет, — слегка обеспокоилась бабушка. — Позвонить ли, чё ли?

— Нет, не надо! — неожиданно для себя воскликнула я. — Не надо звонить. Она... она предупреждала, что будет поздно, сказала не волноваться.

— А. Ну ладно. Я пойду тогда, маленько телевизор погляжу — да спать...

Я прекрасно понимала, что если тётки Любы всё ещё нет, то варить лисички придётся самой. Но мне как раз этого и хотелось. Если люди уже в семнадцать лет рожают живых настоящих детей, то кто же буду я, если не справлюсь с какими-то жалкими грибами?!

— Ничего-о, ничего, — подбадривала я себя. — Сейчас потихоньку разберёмся.

Дома у бабы Зои была маленькая электрическая плитка в тёплой кухне и большая газовая — на веранде. Я с газом никогда не имела дела, но в тот день пришлось с ним познакомиться: не ставить же огромную тяжёлую кастрюлю на одинокую хрупкую конфорку?

Я видела несколько раз, как тётя Люба готовит на газовой плите, но не помнила, что надо сделать вначале — то ли поджечь плитку, то ли повернуть рукоятку на баллоне. Логически поразмыслив, я включила газ и поднесла спичку. Расцвели синеватые огненные лепестки. Я возликовала и водрузила на плиту кастрюлю, в которую чуть не до верха наложила грибов и залила их водой. Ждать пришлось недолго, плитка работала на удивление шустро. От грибов поднялась пена, шапкой полезла через край кастрюли. Вскрикнув, я стала бегать по кухне, искать какую-нибудь чашку, в которую можно было бы скинуть часть грибов. Потом я, наконец, догадалась убавить огонь.

Когда первая партия лисичек сварилась, я загрузила в кастрюлю вторую. За окном давно стояла темень. Я уже перестала думать, почему так задержалась тётя Люба. Мне даже, наоборот, хотелось,

чтобы она не приходила ещё хотя бы полчаса — тогда я успела бы всё доделать и порадовать её.

Так оно и вышло. Тётя Люба пришла уже ночью, когда я успела не только сварить все грибы, слить с них воду, но и расфасовать сваренное по пакетам. Зайдя в кухню, она увидела плоды моего труда и удивлённо воскликнула:

— Ты всё сделала! Умница! А я-то знаешь почему так долго? Ленка родила. В больницу отвозили, в райцентр.

Я кинулась ей навстречу и обняла. Тётя Люба была меньше меня ростом сантиметров на десять, и, чтобы стать с ней наравне, я положила голову ей на плечо. От неё слегка тянуло запахами стайки, молока и пота, которые плохо заглашала дешёвая туалетная вода. Я была счастлива, что она вернулась, и горда собой, потому что выполнила задачу, почти такую же важную, как и у неё. Если бы я не занялась тогда этими чёртовыми лисичками, они могли бы пропасть, и пропал бы весь труд людей, которые целый день их собирали и везли сюда. Ах, эта памятная ночь! Кто бы мог подумать, что взрослым человека делают грибы.

## Чудо на руках

Грибной азарт у тётки Любы после той поездки только разошёлся. Через пару дней она потащила меня куда-то к востоку от деревни за подберёзовиками и белыми. Дорога до нужного места была долгая, и мы разговаривали. Мы прошли мимо длинного тёмно-зелёного здания с заколоченными окнами, не похожего на обычный дом, и я спросила:

— Что это такое?

— Это больница была. В позапрошлом году закрыли. Теперь придётся в райцентр ездить.

Я вслух посочувствовала местным больным, вынужденным терпеть такие неудобства, на что тётя Люба сказала:

— Люди как только не живут. Наша-то деревня всегда обустроенная была. Как брат мой, Витя, говорит: недеревенская деревня. А вот я после распределения попала учительницей в Двинку. Так я там захожу в магазин — одни конфеты-карамельки! Я ими неделю питалась, пока местные не стали подкармливать...

Чувствуя мой интерес, она углубилась в воспоминания о своей молодости.

— Там выходцы из Белоруссии жили. Я их сперва не всегда понимала, а потом приоровилась. Выйдет пацан к доске отвечать: «Гэта праяма прайдзэ чэрэз точку Гэ». Я ему: «Нэ прайдзэ». — «Чаво дразнытэсь?»

Я смеялась, слушая её весёлые байки, хотя они, по сути, не были такими уж смешными.

— Там, в этой Двинке, меня как-то пригласили на праздник. Я сижу за столом, а тут же рядом со мной ученики мои, семиклассники. Себе самогонку наливают, и им наливают. Почти что наравне.

А в восьмом классе у меня ученица забеременела. Я, как классная руководительница, к ним домой пошла. Встречает меня ейный батька: рослый, пузатый такой, с усами. Я что-то мямлю им там: мол, как же вы так?.. Он меня послушал молча да и говорит: «Моя Валька хутка замуж выйдет и ребёнка родит, а ты, чуе моё сердце, так и помрэшь одна». И ведь, чёрт поberi, оказался прав!

Мне стало немного не по себе.  
— Давай лучше песню споём,—предложила тётя Люба.—Я буду петь, а ты подпевай.

Во субботу Янка  
Ехав ля раки.  
Пад вярбой Алёна  
Мыла ручники...

Я не знала слов и вообще не слышала раньше этой песни, но с первого раза влюбилась и в мелодию, и в этот певучий язык, причудливо похожий на русский. Грянул дождь, от которого мы не прятались, продолжая петь. Промокшие и счастливые, мы добрались по раскисшей дороге до самого Мальцева. Там нас встретили охающая бабушка, которая уже посчитала, что мы если не умерли, так заблудились, и ворчащий Санька, которого баба Зоя снарядила на поиски, как только услышала за окном грохот начинающейся грозы.

Мы с тётей Любой переоблачились в чистое, сели греться возле включённого «камина»,—таким гордым именем здесь величали обыкновенный масляный обогреватель. Сашка осыпал нас заботливой бранью:

— Твою мать, вот надо же было придумать в такую погоду куда-то переться. Тётка, ты всегда была сумасшедшая. Ещё девчонку утащила. А я, значит, ходи за имя, бегай...

Через день Сашка поехал на соседском «уазике» в райцентр—забирать из больницы Лену с ребя-тёнком. Мы с тётей Любой с утра отправились к ним в дом и вместе приготовили обед. Понятное дело, что готовила тётка, а я была только её скромной ассистенткой, но волнение у меня перехватывало через край. Расставив по местам блюда и тарелки, я переходила из комнаты в комнату, перебирала вещи, выглядывала в окно.

Часам к трём прибыли молодые родители, а с ними—тётка Зина, маленькая Анюта, незнакомые мне соседи. Застолье было коротким и не очень весёлым. Я подумала, что по дороге, наверное, из-за чего-нибудь поругались. Дело оказалось в другом. Ленка, оставшись наедине с тётей Любой, горестно шептала ей:

— Ну что я сделаю, если это девчонка и в меня уродилась? Что я сделаю?!

Тётя Люба обнимала её, похлопывала по спине. Из их разговора я поняла, что Санька мало того что был расстроен из-за появления второй девочки вместо желанного пацана, так ещё и окончательно

вышел из себя, увидев, что новорождённая дочь нисколько на него не похожа. Прямо в роддоме он закатил Ленке сцену ревности, кричал, не стесняясь, что она якобы ему изменила.

— Успокойся он. Молодой ещё... дурак,—оправдывала племянника тётя Люба.—Отойдёт...

Лена взяла Анютку за руку, увела тётю Любу на кухню. Маленькая девочка осталась лежать на широкой кровати. Я осторожно села рядом с ней. Она спала, стиснутая фланелевой пелёнкой, недовольно причмокивала во сне толстыми губами. На лобик девочки падали прядки тёмно-русых волос. Я прикоснулась к ним только одним пальцем и вздрогнула, когда девочка открыла глаза. Пробудившись, она заворочалась в своём тканевом коконе и ещё недовольней, как мне показалось, зашлёпала губами. Повинуясь какому-то инстинкту, я дала ей нащупать свой указательный палец. Девочка мгновенно втянула его верхнюю часть в ротик и принялась сосать, крепко прижимая палец к ребристой поверхности своего нёба. Я поразились силе, с которой такое маленькое существо цепляется за то, что может дать ей пропитание—пусть даже она жестоко ошибается, приняв мой палец за бутылочку или материнскую грудь.

Я всмотрелась в глаза девочки, ожидая увидеть, что они будут светло-карими, как у Лены. Но они были синевато-серыми. Это немного меня разочаровало, зато удивил нос: крупный, хорошо выделяющийся на лице, даже как будто с небольшой горбинкой.

— Ух, какая носатая,—улыбнулась я.—Хваткая.

Стоило мне отобрать у девочки палец, как она разразилась плачем. Прибежала Лена, села кормить дочку на стуле возле окна. Она казалась уже спокойнее, чем в первое время после приезда из больницы.

— Как девчонку-то назовёте?—спросила тётя Люба.

— Марина.

— Пена морская,—непонятно почему сказала тётка.—Красивое имя.

— Нежное,—согласилась я.

Маринка выпростала ручонку из жаркой фланели. Пальчики у неё были крохотные, тонкие, чуть ли не прозрачные. Я подумала, что не такая уж она хваткая, как показало мне сначала.

— Хочешь подержать?—предложила мне Лена.

Ещё бы не хотеть! Я закатала рукава кофты и с нетерпением протянула руки. Девочка оказалась совсем лёгкой. Внутренний голос подсказал мне, как нужно её держать, как покачивать. Насытившись материнским молоком, она не кричала. Я слегка наклонила голову, чтобы лучше слышать её частое дыхание.

— Когда-нибудь у тебя будет дочка,—сказала тётя Люба.

— Да,—согласилась я.— У меня... Дочка.

Я покачивала ребёнка и думала, что она со своими тёмными волосами, наверно, будет похожа на Русалочку из сказки Андерсена. Не зря же и тётя Люба сказала что-то про морскую пену... Эта девочка пришла домой в такой пасмурный, дождливый день, в котором было много печали— но и радости. Когда она вырастет, то обязательно кого-нибудь очень полюбит.

— Мариночка,—ласково произнесла я.

Мне не хотелось от неё уезжать.

Мы с тётей Любой прожили в Мальцево ещё дней десять или двенадцать, а потом поехали в город. Она собиралась в первых числах сентября опять вернуться к своим— там уже наступало время копать картошку, а я, естественно, должна была оставаться в городе и идти учиться в одиннадцатый класс.

Моя закадычная подружка Оля сама стала спрашивать, как я отдохнула в деревне. Она весь август провела у своих родственников на Урале, в маленьком городке, где, по её словам, было решительно нечем заняться и некуда пойти.

— А что есть в этом Мальцево?— любопытствовала Оля.

— Там много лесов!— сказала я.— Большие берёзовые леса, и в них полно грибов.

— Шурик за этими грибами у нас на даче каждый год таскается. Я раньше с ним ходила.

— А теперь что— не ходишь?

— Нет... Уже не интересно. А что ещё есть в этой деревне?

Я рассказала, что там есть три магазина— два продуктовых и универсам, почта, школа в два этажа и больница, которую вот-вот хотят закрывать. Все эти факты звучали не очень-то занимательно. Рассказала немного про бродниковскую родню. Подруга в ответ напомнила мне, кто из родственников живёт у неё в уральском городке.

— Я с тоски маялась там. В парк ходила гулять. Немножко с племянником сидела.

— Я тоже с ребятишками сидела! С двумя. Чуть побольше года каждому.

— Ужас,— посочувствовала Оля.— Как ты с ними не чокнулась?

Я, разумеется, показала ей фотографии, рассказала про грозу, про рождение девочки, но поняла, что почему-то с трудом нахожу слова, почти не могу передать то, что пережила, так, чтобы подружке это стало понятно.

Как и положено в шестнадцать лет, ко всему я относилась архисерьёзно и настроена была радикально. Чем больше я смотрела на людей вокруг, тем больше убеждалась, что город всех портит, а в деревне— хорошо. Честнее сказать, я заранее привила себе эту мысль, а потом уже подыскивала факты, её подтверждающие. К концу

февраля у меня созрел план: нужно найти себе спутника жизни, такого же молодого, честного и непонятого, как я, и вместе с ним переехать в деревню— может, и не обязательно в Мальцево, тут уж пусть он выбирает, куда! Присмотревшись к своим одноклассникам, я только рукой махнула: нет в них романтики, нет порыва! С воплощением моих бурных фантазий помогла не вовремя подвернувшаяся газета «Комок», где я углубилась в раздел объявлений о знакомстве.

Тот факт, что некий восемнадцатилетний Александр пребывал, судя по скупой информации в заметке, в местах не столь отдалённых, меня не то что не испугало, а, можно сказать, вдохновило на подвиг. Я написала ему пространное письмо о том, что заканчиваю одиннадцатый класс, впереди широкая дорога, свершения и открытия. Кто, как не он, с юности уже отверженный обществом, может понять и разделить мой порыв? Нам обязательно стоит познакомиться, я приеду к нему на свидание, потом дождусь, пока его отпустят на волю, и после этого мы вместе начнём новую, полную свободы и любви, жизнь где-нибудь на лоне русской природы.

Я видела, что свой адрес почти никто из авторов объявлений не указывает, но, увы, при бурном полёте мысли мне не хватило ума догадаться, что таинственные цифры, стоящие при каждом объявлении,— это номер паспорта. Пришлось написать наш настоящий домашний адрес. Я проверяла почту утром и вечером и была уверена, что если письмо придёт, то обязательно попадётся мне в руки. Не позже чем через неделю, когда я тихо и мирно сидела за уроками, мама вдруг подошла и объявила:

— Знаешь, тут пришло письмо к нам по ошибке. Да ещё и не одно. Из такого странного адреса.

— Какого?— спросила я, начиная ощущать себя как в фильме ужасов, когда после вот такого невинного вопроса на секунду воцаряется тишина, а потом начинается ад.

— Да из тюрьмы.

Глубоко вздохнув, я призналась в том, что написала это письмо.

Мама вскрикнула пронзительно, подскочила ко мне и, схватив за волосы, резко ударила головой об стол. Я взвизгнула от ужаса... Первые минуты прошли как в тумане: я совсем ничего не соображала, только сжалась внутренне, пытаюсь превратиться в ничто и не чувствовать боли.

Спустя, наверно, полчаса я сидела на полу и, заикаясь, подвывала:

— П-прости меня...

— У-у, скотина! Ты зачем адрес наш написала?! Ты зачем нас подвела под монастырь? Эти зеки сейчас будут знать, где мы живём!

Я поняла: мама больше всего злится на меня именно за адрес и почему-то уверена, что теперь

к нам заявится целая вооружённая банда. Они выломают дверь, «унесут последнее — и тебя, проститутку, изнасилуют!»

Мама ещё долго хлестала меня полотенцем. Размазав слёзы, я пригласила свою разлохмаченную шевелюру, и мне в самом деле сделалось страшно. А ну как и правда придёт банда?!

Почти неделю мать со мной совершенно не разговаривала, потом всё больше стала отмякать и через месяц вспоминала о моём поступке уже с усмешкой. Она сказала, что прочитала все письма из колонии (было их три — от самого Александра, к которому я обращалась, и от двух его приятелей). — И ты почитай, — предлагала родительница. — В общем-то, ничего такого страшного не пишу.

Но я при одном упоминании об этих злосчастных письмах яростно мотала головой и в страхе умоляла мать, чтобы она при мне порвала их и выбросила остатки в мусорное ведро. Уж очень я была перепугана возможным приходом банды.

Проклиная себя за глупость, я решила пока оставить эту идею с замужеством и заняться учёбой. Благо приближались экзамены. Я сдала ЕГЭ по русскому и биологии, подала документы на биофак и на филологический. Логика у меня была проста: если поступить на биолого-экологический, можно, наверное, будет поехать в Мальцево как какой-нибудь ветеринар. Русский и литература мне нравились больше, с ними можно было стать учителем — и опять-таки поехать в Мальцево работать.

Когда наступила настоящая весна, я стала часто уходить на улицу, бродила по дворам, трогала нарождающуюся траву, любовалась даже грязью и лужами, пытаюсь найти в неприглядном окружающем пейзаже какие-нибудь отголоски того, что я видела в деревне. Я купила себе кассету «Любэ» и слушала песни «Конь», «Не смотри на часы», «Расся» и особенно часто «Позови меня тихо по имени», воображая, как мы с тётёй Любой идём по широкой просёлочной дороге или как я собираю малину и смородину в каких-то садах, похожих на райские, — и этими фантазиями порой доводила себя прямо до исступления.

«Я знал одной лишь думы власть, одну — но пламенную страсть», — признавался Мцыри у Лермонтова. Такую страсть знала и я. С мая по август только и думала что о Мальцево, о том, как поеду туда и найду способ там остаться.

После школы нужно было ещё проходить устный экзамен и сочинение на филфаке. Я готовилась к ним усердно, страстно мечтая о том дне, когда, наконец, сяду в автобус и поеду в деревню. Экзамены я выдержала успешно и узнала, что поступила на бюджет. На следующий же день я поехала на вокзал и купила билет до Мальцева. Отходя от кассы, я ещё долго не верила, что действительно все дела окончены, я свободна и держу билет. Чудо было у меня в руках.

## Лето второе

### Работница

Мы поехали в Мальцево вместе с Дашей, тётёй-Любиной племянницей. Она была на четыре года меня старше, училась на четвёртом курсе института, всю дорогу поздравляла меня с поступлением и угощала солёным сыром.

Тётя Люба встретила нас радостно и с порога заявила:

— Ну, девки, вас-то мы и ждали. Надо завтра на покос ехать. Наши не успевают сено убирать.

— И меня возьмёте? — встрепенулась я.

— Тебя? Тебя в первую голову! — засмеялась тётя Люба.

Я видела, что она волнуется не меньше моего. Тётка приготовила мне ситцевую рубашку, пояс, косынку, но подходящих штанов не нашла. Пришлось надевать старые джинсы.

Я думала, что нам нужно будет брать с собой косы (в деревне их называли литовками) и весь день ходить по лугу, срезая высокую траву. Такое приходилось раньше видеть только в фильмах. Вопросов возникало много, но задавать их не хотелось. Я решила, что завтра сама всё увижу и пойму.

На покос мы поехали не очень рано, расселись в добротном тракторе дяди Толи Ушакова, Сашкиного соседа. Они с Санькой часто косили сено сообща, а потом делили его на две семьи. Ехать в кузове большого трактора с бортиками было удобно, выгодно. Мы стали петь песни: «Коробушку», потом «Виновата ли я», потом ещё что-то из застольного репертуара. Санька вначале только ухмылялся, потом и сам стал подпевать.

— Откуда твоя девчонка все песни знает? — вопросом похвалила меня ушаковская жена.

— Она с детства с бабушкой пела, со мной! — гордо ответила тётя Люба.

Погода стояла жаркая, безветренная. Трактор, умело ведомый Петровичем, объезжал канавы, а на кочках если и подскакивал, то легко, не заставляя нас цепляться за борта.

Оказалось, что косить траву не надо — подвяленное сено лежало в валках, скошенное накануне трактором. Я с нетерпением ожидала, когда мы начнём работать, но вся наша компания двинулась к лесочку с явным намерением разводить костёр. Мужики быстро разожгли огонь, набрали в ручье воду, поставили котелок.

Часам к одиннадцати зной усилился, скошенная трава стала сильно пахнуть мёдом, солнцем; так и хотелось окунуться в неё, как в ароматное море, и грести в нём, грести руками.

Мне выдали какие-то диковинные деревянные вилы в полтора человеческих роста и позвали

на середину поляны. Тётя Люба надела перчатки, стала учить, как брать сено.

— Спугетти же ела? Вот так, тыкаешь вилами в эту кучу сена, напружинилась — подымаешь на вилы!

Я попробовала сделать всё, как объясняли. Вышло поднять наверх смехотворно маленький клочок. Второй раз, наоборот, зацепилось так много сена, что я вынуждена была опустить его наземь. — Счас пристреляешься, — успокоила тётка.

Поначалу я боязливо озиралась, не будет ли кто смеяться над моими неловкими попытками. Но все давно были заняты делом. Кроме тёти Любы, никто не обращал внимания на меня, да и та скоро отошла, предоставив мне возможность потренироваться самой, без оглядки на остальных.

Скоро я приловчилась и стала более или менее удачно схватывать сено и складывать его в копну. Усталости я почти не чувствовала, только плечи немного ныли от непривычной тяжести. Скоро мы с Дарьей и ушаковской женой, которую все звали Петровичева — по отчеству её мужа, поставили первую копну. Пока мы делали копны, мужики по очереди управляли трактором, прицепив к нему грабилку, которая напоминала мне полусмешные-полустрашные зубы какого-то чудовища.

До вечера мы поставили несколько копён, а потом опять отправились к костру, обедали консервами, хлебом, холодной варёной картошкой. Раньше я была уверена, что сенокос — это тяжёлая работа, а выходило, что хотя и побаливают от усталости спина и руки, но, по сути, покос — это праздник. В чём именно был этот праздник, сказать мне пока было трудно. Может быть, в яркой солнечной радости, в ароматах лугового разнотравья; может — в ощущении своей силы и ловкости, умелости; может — в чувстве радостного единства от того, что делаешь вместе со всеми что-то важное, нужное для многих людей. А скорее всего, во всём сразу.

На другой день после покоса я увидела Маринку. За год она превратилась из завернутого во фланель комочка в весьма шустрое темноволосое и темноглазое создание, уверенно сползающее со ступенек крыльца. Я протянула к ней руки, но Маринка насупила бровки и на всякий случай, развернувшись, поползла в другую сторону. Баба Зоя засмеялась дребезжащим смехом.

— Подальше от вас, городских, уползла!

Ползая по деревянным мосткам тротуара, Маринка пользовалась огромной свободой: стучала кулачишком в деревянную стену дома, прислушиваясь к глухому звуку, сгребала пальчиками песок, хватала в рот траву, резиновые игрушки. — Лен, смотри, съест ведь ненароком что-нибудь, подавится, — предупредила тётя Люба.

— Да беда с ей. Всё в рот тащит. Дома с печки штукатурку ковыряет и ест.

— Кальция не хватает, значит, — наставительно заметила тётка.

Жизнь у меня потекла весёлая. Санька на несколько дней уехал, Лена осталась одна на хозяйстве, а девчонки, Марина и Анютка, были со мной. Тётя Люба ездила на покос, а бабушку я, разумеется, брала в расчёт, но с неё и так хватало готовки: завтрак и обед баба Зоя желала делать самостоятельно, и только ужин в виде жареной картошки или рожек по-флотски для покосных работничков доверяла мне.

Мы с девками облюбовали малину и смородину. Анютка лазила в кустах сама, пробивая себе дорогу среди колючих веток, а Марину я держала на руках. Иногда ко мне приводили понячиться ещё и Виталю. Самое первое время он боялся меня, но быстро привык.

— Вот и Виталья меня полюбил, — похвалилась я однажды тёте Любе.

— А что ж тебя не любить, милая? — ответила она.

Но скоро пришлось поплатиться за своё хвастовство. Меня попросили перевести всех трёх ребяташек к бабке Зине, а для этого надо было топтать на другой конец деревни. Я посадила Маринку в лёгкую коляску-трость, а Витальку и Аню одела в чистое и взяла за руки. Казалось, что мы потихоньку-полегоньку пройдем этот путь. Но стоило только пропасть из виду дому бабы Зои («старенькая баба» — так всегда называли её родители «моих» ребяташек), как Виталька рванул и побежал назад. — Не-е! Виталья! Идём! К бабе Зине идём!

Я схватила его за ручонку и поволокла обратно. Метров через двести парень покорился судьбе, и какое-то время мы шли спокойно. Но тут на повороте показался магазин.

— Ба-нан! — проскандировала Анюта.

— Банан! — повторил Виталья.

Маринка деловито сжала и разжала кулачок, демонстрируя, что и она бы не прочь что-нибудь ухватить от жизни.

Наличности при себе у меня было — кот заплакал. Чтобы войти в магазин, я сначала планировала оставить коляску с Мариной на улице, но потом побоялась, что она поднимет крик. Пришлось волочь всех троих в магазин. Моих копеек хватило на то, чтобы купить один банан и две маленькие конфетки.

Банан по-частному разделили на четверых. Свою часть Маринка со счастливой улыбкой размазала по футболке, и тут я заметила, что в коляске под ней пльвёт лужа. Запасных колготок у нас с собой не было. С минуту я стояла в раздумье, гадая: то ли снять с ребёнка колготки, пользуясь летней погодой, то ли оставить сидеть в мокром, но хотя бы в одежде?

Подумав немного, я стащила с Маринки колготки и сунула их в низ коляски, а у себя с головы сняла панамку и постелила девке под задницу.

Новое приключение ждало нас при виде коз, к которым Виталья тянул руки, а Анютка, наоборот, испугалась их и зашныкала.

Последнюю часть пути мне пришлось взять Анютку на руки: она устала и ныла. Я шла, толкая впереди себя коляску с закемарившей Маринкой, Анька довольно сидела сверху, обхватив мою шею руками, а пацанёнок, уверенно держа мою руку, шёл с правой стороны.

Так, с приключениями, мы добрались до тёти Зины. На другой день мне пришлось повторить поход, только уже в обратную сторону. На сей раз я захватила с собой погремущки, мелочь, запасные шмотки в пакете и чувствовала, что мне уже ничего не страшно.

По вечерам я обычно стирала бельишко в бане. Машинку «Малютку» берегли только для постельного, а для мелких вещей хватало и доски. Мне нравилась уютная тёплая баня, которую мы с тётей Любой специально слегка подтапливали каждый день, нравилось, что там можно спокойно сесть и отдохнуть после всей пережитой суеты, окунуть руки в приятно расслабляющую мыльную воду и почувствовать сладкую усталость от дневных трудов. Мешали философскому настроению разве только комары, которых приходилось ловить или брызгать отравой из баллончика. Впрочем, если закрывать вовремя дверь предбанника, комары залетать не успевали.

Однажды, стирая детское бельишко, я увидела брошенные на банную лавочку взрослые коричневые колготки и, недолго думая, постирала их тоже. Уже поздно вечером баба Зоя стала ходить туда-сюда по дому, явно что-то ища.

— Мамусик, что потеряла? — спросила тётя Люба.  
— Да колготки. . . В бане сняла.

Я сказала, что их постирала, и никак не ожидала того, что случилось дальше. Баба Зоя подошла ко мне и сердито крикнула:

— А тебя кто, к чёрту, просил? Какую холеру ты их взяла?

Мне стало обидно от таких слов, тем более до сих пор старуха, хоть и не была со мной особенно ласкова, ругательств ни разу в мой адрес не произносила.

— Они там лежали. . .

— Не бери! — наказала мне баба Зоя, погрозив пальцем. — Ишь, какая работница! Всё она перестирала!

Она вышла на веранду, а я не выдержала и заплакала. Тётя Люба наклонилась ко мне:

— Настенька. . . Прости её. Она ведь старая уже.

— Да, да. . .

— Она старая, — повторила тётя Люба, — и сдерживаться не всегда может. Не успела до туалета добежать — и колготки мокрые. Она их там в бане сняла, хотела спрятать и сама постирать. Ну, или я бы ей постирала потихоньку, мне она разрешает. . .

Я поражённо посмотрела на тётю Любу. До сих пор мне не приходилось узнавать, как может стыдиться своей немощи человек и как за показной независимостью скрывает боль. Жаль, что в тот раз я не догадалась подумать о своей маме.

Целыми днями я нянчилась с детьми, собирала и очищала ягоду, убиралась в доме, стирала одежду, а по вечерам развлекалась тем, что разговаривала с тётей Любой и Леной или читала роман «Прощай, оружие!», который нашла в зале на полке. Я не чувствовала ни скуки, ни усталости, но тётка решила предложить мне отдых.

Почти напротив бабушкиного дома обитали дачники — так называли семьи, которые не жили в деревне постоянно, а приезжали сюда только на летнее время. У этих дачников по фамилии Копелевы было две дочери: одна примерно моего возраста, другая постарше, но тоже очень молодая. Тётя Люба привела меня к ним домой, представила и ушла по делам.

Сёстры приняли меня благосклонно, стали спрашивать, где я учусь и кем собираюсь стать. Я ещё не очень представляла, что буду делать, но ответила, что стану учителем.

— Ой, это так непрестижно, — сразу сказала старшая.

— Денег мало дают. Может, подумаешь ещё? — добавила вторая.

Я покивала: подумаю, дескать. Этот неприятный разговор вернул меня к мысли, что нужно и в самом деле как-то определяться. Мне не хотелось даже мысленно возвращаться в город, Мальцево было моей маленькой вселенной, но весь изысканный городской вид девушек заставлял вернуться к важному вопросу: смогу ли я переехать сюда, в деревню, и если да, то как это сделать быстрее?

Девушки пригласили меня пойти вечером в бар. Баба Зоя с одобрением наблюдала, как я облачаюсь в светлую юбку и красную с золотом футболку (они до сих пор лежали у меня в сумке), крашу губы яркой помадой.

— Настя, тебе лет-то сколь? — поинтересовалась она.

— Шестнадцать. Скоро семнадцать.

— Шешнадцать? Ты ведь уже дружишь?

— С одним дружила, только совсем немножко. Неделю. Мы с ним в магазин ходили.

— Ну и тут найди какого, хоша на полнедели.

Я отправилась в бар без всякого желания, но при этом подумала: может быть, как раз там я смогу встретить какого-нибудь парня, закрутить с ним роман и остаться жить в деревне.

Копелевские девки расфуфырились на славу. Если днём, при знакомстве, они ещё вызывали у меня какое-то расположение, то сейчас отталкивали почти инстинктивно.

Мы сели за широкий деревянный стол, взяли пива, какой-то закуски. К нам подсели две

попроще одетые девчонки, стали рассказывать местные новости. Вначале я добросовестно прислушивалась к их разговорам, пыталась вникнуть в беседу, но потом потеряла её нить из-за обилия незнакомых имён, шума вокруг, да и малой связности речи девчонок.

Мы пошли танцевать, и тут стало немного веселей, но музыка слишком быстро прекратилась, и все опять разошлись за столы со спиртным. Не желая пить много, я потихоньку поменяла свою наполовину полную банку с коктейлем на почти пустую у моей соседки. Та не заметила подмены, а потом с удивлением сказала:

— Надо же, пью и пью, а банка не пустеет.

Я посмеялась про себя. За столиком поодаль сидел высокий симпатичный парень со светлыми волосами. Я стала разглядывать его и воображать, что его зовут Димой, Ильёй или Витей (это были мои любимые имена), ему девятнадцать лет или чуть побольше, он учится в Красноярске в техникуме и приехал сюда на каникулы к родителям. Когда снова заиграла музыка, я встала, чтобы пойти танцевать. К моей радости, парень тоже поднялся, смачно потянулся и пошёл на середину зала. Я осмелилась приблизиться к нему, но произвести ничего не решалась.

— Ну чё? — сказал он мне вдруг так грубо, что я вздрогнула.

— Ничё...

— А чё тогда пялишься, а? Танцевать пойдём, а?

Я слабо мотнула головой и отошла, чуть не заплакав от какой-то непонятной обиды и разочарования. Через минуту я уже корила себя, что не пошла плясать с этим парнем. Может, он снаружи только такой грубый? Ведь взять Ленку: она всё время матерится, а на самом деле добрая... Чёрт их знает, этих парней! Дожила почти до семнадцати лет, а так и не понимаю, как их завлекать. Разве что письмами...

## Дяди-Витина облепиха

Лето клонилось к закату. По утрам роса уже долго не высыхала, и солнышко, хотя по-прежнему дарило миру много ласкового света, не жгло поцелуями, умерило прежнюю страсть. Как воспоминания о его прежней щедрости и силе росли повсюду, по палисадникам и клумбам, пышные шафраны и бледно-жёлтые астры, медово пахнущий канадский злотарник да мелкие, не успевающие вызреть за короткое сибирское лето лимонно-жёлтые подсолнушки. И уже в самом конце августа яркими оранжевыми бусинами, богатыми ожерельями вызрели на тонких серебристых ветвях ягоды облепихи. — Я тебе, Настька, новое занятие нашла, — сказала тётя Люба.

— Какое?

— Облепиху будешь собирать. У брательника моего её мно-ого. Можно и варенье сварить, и

заморозить. Только ни у кого времени нет собирать.

— Не столько времени, как терпенья! — поправила баба Зоя. — А девчонка терпелива...

Недолго думая, тётка велела мне собираться. — Придём прямо сейчас, познакомишься, покажут тебе, где что, а завтра сама, без меня, пойдёшь.

В половине девятого над деревней уже голубели сумерки, позванивали в вечернем остывающем воздухе комары. Мы пошли короткой дорогой — через закрывшуюся недавно больницу, потом — через развалины старой пекарни. В полутьме кирпичные обломки пекарни казались мне руинами древнего замка, и чудилось почему-то, что здесь, на пустыре, в высокой траве, должны обязательно водиться змеи. Место было неприветливое, и мне скорей хотелось выйти на большую дорогу, где опять начинались дома.

— Долго деревня тянется, — пожаловалась я.

— Ты ещё старое Мальцево не видела, — возразила тётя Люба. — От улицы Новой, от двухэтажек если дальше идти, там кладбище будет, а как его пройдёшь — так старое Мальцево.

— А автобус туда уже не ходит. Как же люди — пешком? А бабушки всякие?

— Конечно, пешком. Там дальше ещё одна деревня есть, Данилки... Деревень в России много, а автобусов мало. А бабушкам надо родственников иметь или жить тихонько на своём месте...

Придя к нужному дому, тётя Люба брякнула кольцом и позвала ленивым раскатистым голосом: — Хозя-а-ава!..

Вышла стройная узколицая женщина в ситцевом платье, цыкнула на собаку и устало пригласила нас:

— Заходите, девочки...

В доме всё было чистое, даже нарядное, белого и голубого цвета. Только что вымытые чашки сушились на широком полотенце, уютно тикали ходики. Эту картину чистоты и аккуратности нарушала закопчённая большая сковорода, из которой ел котлеты одетый в клетчатую рубашу и трусы мужик.

В прошлом году мы заходили сюда, но тогда почему-то нас встретили куда церемоннее.

Меня мужик, кажется, совсем не стеснялся, как ни в чём не бывало продолжая ходить в трусах. Тётя Люба, заметив моё смущение, сказала нарочито вежливо:

— Штаны, будьте добры, наденьте. При ребёнке...

Услышав, что меня называли ребёнком, я фыркнула и попыталась сделать вид, будто мне совершенно всё равно — в трусах тут передо мною расхаживают или вовсе без оных.

Дядя Витя, проворчав что-то насчёт дома и хозяина в нём, удалился в глубь комнат и вскоре вышел в летних парусиновых брюках, да ещё и причёсанный.

Тётя Валя несмело пригласила нас за небольшой стол с голубенькой скатертью и голосом, который у неё дрожал, как колеблющееся пламя свечки, стала рассказывать о сыне, переехавшем в город, о скотине, о картошке — о разных житейских мелочах. Тётя Люба изредка разбавляла её монолог сочувствующими репликами. Поддерживая «взрослый» имидж, я изо всех сил старалась быть внимательной, ожидая, что вот-вот и меня о чём-нибудь спросят.

И вдруг дядя Витя, который, казалось, давно занялся своими делами, убедительно воскликнул: — Настенька, чё ты их слушаешь?! Эти бабские разговоры — их хрен переслушаешь. На-ка лучше на...бни ещё котлетку.

Почти не растерявшись, я улыбнулась и уверенным жестом надела здоровущую домашнюю котлету на вилку.

— Ешь, красавица! — одобрил дядя Витя. — Вишь, кормили тебя хорошо — сытая стала, ба-альшая выросла!

— Да ты её вспомнил? — усомнилась тётя Люба. — Это же та самая девчонка, помнишь, которая на столе-то у тебя плясала. На юбилее!

Дядя Витя в раздумье наморщил лоб, а потом неуверенно выдал:

— Это она на дне рождения моём пела, когда сорок пять годов мне было?

— Ну! — обрадовано подтвердила тётя Люба. — Мы с Настькой тогда песни голосили, частушки, а потом я её прямо на стол поставила. Ей тогда восемь лет было. А теперь шестнадцать.

Я помнила этот юбилей: в тот первый давний приезд тётя Люба нарядила меня в широкую юбку, красную кофту, нацепила сверху крупные бусы и цыганский платок с кистями и в таком виде привела меня за руку к дому своего брата. Сама она была очень весёлой, и от неё сильно пахло лаком для волос и духами. Мы кивали незнакомым для меня людям, сели рядом за стол, уставленный мясом, пирогами, разноцветными соленьями. Мне подкладывали салаты, тётя Люба громко смеялась, весело поглядывала на меня, потом вывела из-за стола и начала петь. Мы с ней пели «Окрасился месяц багрянцем», «Живёт моя отрада» и ещё что-то разухабистое, с припевом, гости нестройно подпевали, а потом одна, меньшая, часть стола как-то оказалась отделённой от остальной, и меня одним движением подкинули наверх. Вначале я немного испугалась, но скоро мне понравилось, что все по-прежнему веселятся, и я продолжала своим тонким голоском выкрикивать слова частушек. За окном была уже ночь; когда, наконец, закончили гулять, кто-то довёз нас с тётей Любой и бабушкой до дома на машине, и я, уставшая, но очень довольная, легла спать...

Озадаченность на дяди-Витином лице сменилась удивлением:

— От горшка два вершка была, а час...

Тётя Люба зачем-то похвасталась:

— А петь она, как и раньше, умеет!

Я ощутила жгучий стыд, потому что, по нынешнему моему мнению, петь как следует не умели ни тётя Люба, ни я; да ещё и страх, что меня, чего доброго, опять заставят танцевать на столе. Но дядя Витя только поглядел на меня с каким-то смешанным чувством вожделения и отеческой нежности и коротко рассмеялся.

— Завтра к нам приходи, собаку не бойся, она лает только — не кусает, — вроде бы без всякой связи с предыдущим разговором сказала тётя Валя.

Я пришла на другой день часам к десяти, от чая оказалась и сразу вышла в огород, к облепиховым деревьям. Мне выдали берёзовый гуесок с лентой, маленькую складную лестницу, головной платок и пластиковый тазик. Я принялась за работу. Временами задувал по-осеннему холодный ветер, так что мне не было слишком тепло даже в свитере. Ягоды облепихи давились у меня в руках, давали сок. Вначале я пыталась рвать их без листьев, потом, чтобы ускорить дело, рвала и листья тоже, но всё равно получалось плохо. Выручить могло только терпение. Через пару часов тётя Валя принесла мне поест, участливо спросила, не устала ли я. Я к тому времени набрала только один гуесок и, хотя вправду уже устала, сказала, что всё отлично.

Вечером пришёл дядя Витя и оглядел мои труды.

— Что-то ты, девонька, мало набрала. На б...дки, что ли, ходила?

Я растерянно ответила:

— Да нет...

Дядя Витя вдруг хлопнул меня по задку и хотнул:

— Ну и зря! Я б на твоём месте ходил!

Вечером меня накормили ужином, расспрашивали о маме. Я уже так привыкла считать тёти-Любину родоу за свою, что мне казалось, будто мы первый раз виделись с балагуром дядей Витей и его женой в моём глубоком детстве. Вернее, в каком-то давнем всеобщем детстве, когда были молоденькими деревцами нынешние высокие тополя на нашей улице в городе...

На второй день сбора облепихи баба Зоя выдала мне маникюрные ножницы. С ними дело пошло лучше, ягода собиралась быстрее, но жгучий сок успел развесть мне пальцы, так что на них образовались круглые глубокие ранки, где кожа была прожжена до мяса. Я ничего не говорила об этом; только когда меня позвали ужинать, тётя Валя сама заметила мои руки и ахнула:

— Что ж ты молчала, милая?! А я-то, дура! Не догадалась тебе и перчатки дать. Там, наверное, уже всё собрано?

Я ответила, что не всё, что я приду ещё завтра.

— Надо тебя на мотоцикле прокатить за твои труды да за страдания! — весело объявил дядя Витя. — Ты хоть каталась раз?

Мне пришлось признаться, что никогда.

— Эх вы, городски! Жизни не знаете!

В одной руке дядя Витя велел мне держать литровую банку со сметаной, а другой хвататься за него. Я боязливо села на заднее место, глубоко вздохнула, крепко прижимая сметану к сердцу, и, как только взревел мотор, дёрнулась, будто ужаленная током, и закрыла глаза от предчувствия ужаса. Меня куда-то мчало, я словно летела в космосе, потеряв чувство пространства.

— Па-а-а берегись! — услышала я сквозь тьму и страх бодрый голос дяди Вити. — Па-а-а аварот!

Я открыла глаза и не без восхищения увидела, как он плавно свернул с главной дороги на сыпучую гравийку, и, вцепившись пальцами в его куртку, решила оглядеться вокруг. Понизу клубилась густая пыль, в небе сияло солнце, а мы пролетали мимо деревьев, слившихся в одну зелёно-золотую волну, и сердце во мне дрожало от новизны чувств.

— Здорово? — крикнул сквозь шум мотора дядя Витя.

— Ага!

— Сметану держи!

На третий день я покончила с облепихой. Её частью заморозили, частью сварили, и из пяти банок варенья две тётя Валя отдала мне, а заодно вручила и полотняный мешочек с прошлогодними кедровыми орехами, и сушёную землянику. Было немного неудобно принимать подарки, но она смотрела на меня с таким умилением, что я поняла: откажусь — не миновать обиды.

— Ты где учиться будешь, девочка моя? — участливо спросила она.

Я ответила, что в госуниверситете, на филфаке, и пояснила на всякий случай, что это русский и литература.

— Вот Семён у нас тоже поступил в институт, — вмешался дядя Витя. — И ведь на бюджет поступил. На инженера. Два курса отучился — и какая моча ему в голову ударила? Ушёл. В армию сгребли... Ну, отслужил.

— Он бы мог отпуск там, в институте, взять, — добавила тётя Валя. — Тогда бы не пропали эти два года...

— Кабы у бабушки были медушки, была б она дедушкой, — сердито оборвал дядя Витя. — А то не говорено ему было! Нет, своё: в армию пойду, потом работать. Ну и работает на этом своём заводе мясном. Учиться поздно теперича...

— Да не ругай уже Сёмку! Он зато женился давно, семейный человек уже, с ребёнком. Вот Гришка у нас не остепенится никак...

— Тот уж вовсе — в поле ветер, в жопе дым! — проворчал дядя Витя.

Заметив, что я внимательно смотрю на них и пытаюсь всему внимать, он сделал мне шутливое замечание:

— Да ты опять нас слушаешь! Не слушай ты эту нашу вольну. Щас в городе поучишься, ума как наберёшься, потом зимой к нам приедешь — а у нас вся деревня в снегу! Вся-вся.

— Много снега? — наивно спросила я.

— Что ты, девка! Как из автобуса выходят — лопату в руки и давай разгребать. Один впереди с лопатой, командует: жди две минуты. Две минуты прошло — следующий пошёл. И так вот один за другим всю дорогу и расчищают. А коровы на зиму в сугроб ложатся. Да. Осенью готовятся, жир копят, а потом сугроб себе готовят — и легли туда, и всю зиму спят.

— Да что ты буровишь-то?! — всплеснула руками тётя Валя. — Заговорил девчонку.

— И то правда, — согласился дядя Витя, весело поглядывая на меня. — Чё болтать попусту? Лучше настоечки выпьем.

Мне налили в стопку тёмно-коричневую пахучую жидкость.

— Это, Настя, наш домашний самогон. На кедровых скорлупках. Полезный! Такого в городе не выпьешь. На вот, попробуй.

Я выпила стопку залпом, закашлялась от резкого запаха.

— Ну как? — играя зеленоватыми глазами, осведомился дядя Витя.

Я смогла только внушительно кивнуть.

— То-то же! — довольно поддакнул он, приняв мой кивок за похвалу своему искусству.

На той же неделе я поехала на тракторе за грибами вместе с Ленкой и Ушаковыми. За рулём был Сашка, у которого выдался свободный день, а мы, сидя в кузове, неспешно говорили обо всём. По нашему следу бежали две Санькины собаки — он выпустил их, чтобы поохотились на мышей в лесу.

— Красота кругом, — легко обмахиваясь берёзовой веточкой, говорила тётя Катя Ушакова. — Пригляделись мы к ней, а ведь в какой земле живём! Хоть на карточку, а хоть на календарь снимай.

— А главное, люди в деревне крепкие, — продолжил Ушаков. — Потому что тут два пути: или загнёшься, или работать будешь. А просто так прокляжешься да деньги получать не выйдет.

Я подумала, что, наверное, он не раз встречал городских, которые «прокляжуются», и на всякий случай пообещала, что буду хорошо работать.

— А кто ты будешь? — любопытствовала у меня тётя Катя.

— Учитель. Русского и литературы.

— Учитель? — со значением переспросила она, медленно продолжая обмахиваться своей веточкой. — Это должен быть человек святой.

— Как это? — поразилась я.

— А так. Он у всех на виду, все по нему судят, как надо жить. Вот у нас, Толя, помнишь, Матвей Иваныч был?

— Помню, как же. Земля ему пухом. Со всеми здоровался, всех уважал. И мы его уважали. Какой документ надо сделать, в какую контору обратиться— всё к нему.

Тётя Катя согласно покивала.

— Простой человек может и обмануть где-то, и со службы украсть, а учитель— нет! С него много спросится.

Поражённая их серьёзностью отношения к учителям, я спросила:

— А у меня так получится?

Мне очень хотелось, чтобы ответили «да».

— Откуда ж мы знаем?— просто сказал Ушаков.

На обратном пути мы пели песни, и вдруг посреди дороги трактор остановился.

— Поломка, что ли?— предположила Лена.

Из кабины вылез Сашка и начал осматриваться кругом, как будто что-то ища.

— Да ты что потерял-то?— спросила тётя Катя Ушакова.

Тот откликнулся не сразу. Хмуро пробормотал: — Еду и слышу... визжит чё-то... Сучка, может, под колёса попала?

— Сашка-а-а! Ха-ха!— залилась смехом тётя Катя.— Да это же мы поём!

## Разговор под звёздами

Дни летели, ночи становились всё длинней, и уже в десять вечера над деревней глушалась бархатистая чернота, в которой вначале одна за другой, а потом целыми десятками начинали появляться звёзды.

Я и в городе любила смотреть на небо, но звёзды там были всегда редкими, только в самые ясные ночи можно было разглядеть скупые горстки сияющих точек. А здесь, в Мальцеве, звёзды сияли щедрыми россыпями, и от их изобильного света небо казалось полупрозрачным. Если я долго смотрела на них, мне чудилось, что звёзды становятся ближе, спускаются к земле, и очень верилось в поэтичную эвенкийскую сказку о Млечном Пути. В той сказке ловкий и упрямый охотник погнался за оленем на небо, да так и не достиг его, превратившись в Полярную звезду. А след от лыж охотника остался в небесной дали.

Когда после того августа прошло уже девять лет и я должна была вот-вот родить сына и стояла у подъезда в ожидании скорой, выдалась ясная звёздная ночь, и мне приходили на ум прощальные строчки Маяковского:

Уже второй. Должно быть, ты легла.

В ночи Млечпуть серебряной Окою...

Тогда же, в шестнадцать, я уже хотела иметь детей, как Лена или Полинка, но не слишком хотела иметь такого мужа, какие были у них. О детях я думала

потому, что мне хотелось о ком-то заботиться, и жизнь только ради своих интересов казалась немислимой. Кроме этого, насмотревшись на Лену и Полинку, я захотела чувствовать себя взрослой, быть настоящей женщиной, а ощутить это навряд ли было возможно, не имея детей.

Я слушала невесёлые разговоры Ленки о том, что Сашка выпивает, пьяный бывает сердит, бьёт посуду, выговаривает Ленке за то, что она курит, хотя сам дымит не хуже паровоза. Последнее почему-то особенно сильно меня обижало, и не потому, конечно, что я как-то поддерживала курение, а потому, что Сашка ставил знак неравенства между собой и своей женой. И пусть даже Сашка соорудил во дворе коптильню, держал десяток собак для охоты и развёл три огорода, эти его хозяйственные заслуги немного стоили в моих глазах. Я, конечно, мало понимала в семейной жизни, но знала по своему скудному ещё детскому опыту, что в мире существует дружба, а для друга стараются делать всё как для себя, потому что он— как часть тебя самого.

Сашка же обходился с Леной, по моим меркам, слишком грубо. Впрочем, и тётя Люба считала, что он Ленку не жалеет. Когда та поздним вечером приходила к нам с банкой молока после вечерней дойки, тётка сочувственно говорила ей:

— Устала? Натопталась за день?

И, благодарно принимая молоко, поила Лену чаем с карамельками.

Та, закатав рукава серой мужской рубахи, брала свою кружку— самую большую на столе— и скромно соглашалась:

— Устала малость.

— Сашка-то как отпустил к нам?

— Ворчал... Шасташь, говорит, всё. Сами бы пришли, городску бы свою отправили... А я чё— я целым дням пластаюсь, Настька вон когда за ребятишками приглядыват да мать... А на мне и скотина, и дом, и всё. Ну а чё делать? Через полгодика ещё на работу выйду.

Я удивилась этим словам: как-то раньше мне ни разу не приходило в голову, что Ленка в двадцать один год может где-то работать за зарплату. Не в силах побороть любопытство, я спросила:

— Лена, а что у тебя за работа была?

— Уборщицей. В школе полы мыла. Годик-то всего помыла, там уже в декрет ушла. А где мне ещё работать? Школу только закончила.

— И мы с мамой ходим полы мыть,— решила выразить я солидарность.

— Мать у неё пластается тоже будь здоров,— вмешалась тётя Люба.— На основной работе пашет, а вечером ещё ходит полomoйствовать. Я уж ей говорю: Марья, брось ты это дело! Жить-то когда? Всех денег не заработаешь, а себя загопишь совсем.

Лена мягко, но уверенно возразила:

— Ну так она же ради Настьки старается. Одеват её, обуват, выучила вон в школе хорошей.

Мне стало неприятно оттого, что Ленка похвалила мою мать, от которой я видела много унижений и грубости, а она продолжала:

— Дай Бог бы всякому таких родителей, работающих да заботливых.

Тут моя душенька не выдержала — кольнула обида, живо вспомнились мамины крики, ругань, озлобленные слова «никчёмная» и «безалаберная».

— Не такая уж она хорошая! — бросила я.

Тётя Люба спокойно продолжала:

— Маша о Настьке очень заботится. Переживает за неё. Даже по первости в прошлом году боялась, не замрёт ли у нас девчонка с голоду.

— Ну даёт, — добродушно усмехнулась Ленка.

— Понять её можно. Одна девчонка у неё, как порошинка в глазу...

Я выплеснула обиду, захлёбываясь в потоке горьких слов:

— Знали бы вы! Она как обидится на меня, так молчит целыми днями и не скажет даже сразу за что. Только позовёт: «Иди жрать!» — и ничего больше! Молчит так, молчит два дня, а потом требует, чтобы прощения просила, полотенцем хвостит! А что просить?! Прости не прости... не простит она меня всё равно!

Ленка немного опешила, а тётя Люба погладила меня по голове и вздохнула:

— Да, характер тяжёлый у неё... Вон у Сашки нашего тоже несладкий характер. Это уж люди они такие. Не умеют любовь свою показать. Внутри они любят, а показывать не станут. Боятся, что тогда их слабыми посчитают и уважать не будут.

Ленка повертела в руках чайную ложку.

— Красиво говоришь, тётя Люба. Не знаю, правда или нет, а слушать тебя охота.

Допив чай, она вошла в комнату, где у чёрно-белого телевизора, будто шаман у магического костра, сидела баба Зоя, и одновременно поздоровалась и попрощалась с ней.

Мы, как обычно, вызвались в провожатые.

— Идите с Богом, — благословила нас старуха.

Фонари в деревне ярко горели только на центральной улице. В остальных местах оставалось довольствоваться тусклыми красноватыми огнями, сильнее которых в эту августовскую пору светили луна и звёзды. В тишине и темноте острее казались терпкие запахи полыни и мяты, ощутил — порывы прохладного ветра.

— Хоть с вами отдохнуть, — сказала Лена. — Приду вот сейчас, Маринка спит, Нюрку уложу, посуду помою, в кухне подмету и лягу. А может, и Нюрка уже спит. Хорошо бы.

— Сашка-то её любит, — странным, словно бы извиняющимся тоном произнесла тётя Люба.

— А Маринку не так.

— И Маринку любит. Своя же кровь всё равно. Куда ему без вас?

— Никуда, — согласилась Лена. — Тётя Люба, так, главное, ещё бы мать не задалась. А то как придёт, так и пошла, и пошла: готовишь невкусно, банки грязные с-под молока стоят, плита не чищена. А мне когда всё успеть? Да ещё стала выговаривать, что мать я плохая. А вон Колька с Полинкой вообще своё Витальку как родили, так и сдали ей на руки — и ничё, не плохие.

— Насчёт детей я поговорю с Зиной, пусть не обижает тебя, — пообещала разобраться с сестрой тётя Люба.

— Да я не то чтобы очень жалею, — неожиданно поправилась Ленка. — В своём вдове живу, и муж, и ребятишки есть. И земля. А как веду я в детстве-то жила?! Настька вон не зная... Так я расскажу. Настенька, у нас пятеро детей было. И мамка, и отец — оба пили. Поначалу, когда маленькие мы были с сестрой, они то вроде весёлые — смеются, разрешают всё, а то как примутся орать да швыряться, что не знаешь, куда деваться от них. А потом совсем запиваться стали... Стеклоочиститель даже... Я и сама-то с десяти лет курила, а с двенадцати пила. Помаленьку бражку сосали, пиво, потом и водку.

Я попыталась представить себе пьяных детей и вздрогнула от страха и отвращения.

— А как же в школе? Приходили же из школы к вам домой, проверяли?

Ленка усмехнулась.

— Ну, приходили, да. А что сделают? Скажут: «Не пейте, плохо»? Ну дак говорили. Эх, Настя, да кто в этих проклятых Ключах не бухает? Каждый первый. Что там делать-то? Совхоз как накрылся, работы не стало. Кто бухает, а кто и совсем... Вон, в прошлом году три человека повесились.

— Как повесились?! — вскричала я.

— Как — на дереве... Я в пятнадцать лет стала понимать: надо бежать отсюда. Школу постаралась закончить, после девятого класса в Мальцево стала летом приходиться. Два часа с половиной — долго ли идти? В баре, в «Сибирячке», с Сашкой вот познакомилась. С осени и жить с ним стала. Баба Зоя пустила. У неё Сашенька всегда был любимый внук.

— Радовалась, что он жениться собрался, — вспомнила тётя Люба.

— Ага. Ничё не скажу, она меня хорошо приняла. Ну, только ругала, что неряха. Оладьи учила печь, пироги. Смотри, говорит. А я в бар ещё бегала, бухать хотелось, гулять. Потом думаю: что это я? Неужели хочу для детей своих такой судьбы, как у меня была? И всё — бросила пить. Нет, думаю, мои дети такого никогда не увидят, как я. Только восемнадцать исполнилось мне, поехала и закодировалась. И не пью никогда, слава Богу, даже не смотрю.

— Слава Богу, — повторила тётя Люба.

— Ну а в девятнадцать Анютку вот родила. Хорошо, что не сильно рано. Хотя Сашка два года детей

уже просил. Давай, говорит, сына мне роди... Ну, вот девок двух родила...

— Анютка-то—вылитый Сашка!—вставила тётя Люба.—Как помнишь, он на тракторе приехал, она только увидела—и сразу к нему! Обнимает, целует!

— Да-а... Я тоже батю своего любила. Хоть он и пил. Он у нас мастерить умел... когда-то. Шкафы в доме сделал, полки, стульчики детские. И что водка с человеком творит? Эх-х! Мужики, мужики! Что они пьют?! Баба ради детей может и пить бросить, и работать будет, и всё! А мужик? Захочет—и сам по себе живёт!

— Ну и мужику семья нужна,—не согласилась тётя Люба.—Хотя и не всегда. Козлы они, конечно, бывают порядочные!

— Ну вот, началось!—шутливо рассердилась я.— Это же такая глупость—говорить, что все мужики козлы! Это ведь так же глупо, как сказать, что все бабы—стервы.

— Так и то, и то правда,—с наигранной серьёзностью ответила тётя Люба.—Все бабы стервы, так и есть.

— Ну вот я, например, не стерва!

— Так ты, Настька, ещё и не баба!

Ленка рассмеялась, и я, пропустив лёгкий укол уязвлённого самолюбия, тоже поддержала её смехом.

— Ну а вы, тётя Люба? Вы разве стерва?

— Я-то? У-у! Анекдот знаешь? «Девушка, а вы с училища?»—«Ещё какая!»

Мы снова смеялись, глядя друг на друга в молочном свете фонарей. И Ленка, и тётя Люба казались мне бесконечно родными, мне хотелось, чтоб они были всегда, и отчаянно не верилось, что всего через два дня я должна буду уехать в город, ходить там в какой-то университет, заниматься непонятной учёбой. Отрезок пути я прошла молча, пытаюсь сглотнуть ком в горле. Когда мы снова нырнули во тьму боковой улицы, я в волнении схватила Ленку за руку:

— Не хочу уезжать от вас! Остаться бы тут, и всё!

Тётя Люба с лёгким удивлением спросила:

— Так ты хочешь в деревне жить?

— Да!—ответила я.—У вас тут лучше всего!

Ленка оживилась:

— А что?! У нас и правда хорошо! Жильё дешевле, за всякую там коммуналку платить не надо, только за землю. Коли дрова, топи печку, картошку сажай! А учителям вообще дрова бесплатно дают.

— Учителям?—переспросила я.

— Ну да, конечно! Им же льготы положены. Закончишь учебку свою—и сразу к нам. Полдома тебе всяко-разно выделят. Под какую-нибудь там программу. А мы тебя тут замуж выдадим за кого-нибудь местного.

— Не надо ей за местного замуж,—поспорила тётя Люба.

— Почему это?—упёрлась Ленка, которой, наверное, уже понравилось устраивать мою судьбу.

— Ты разве не видишь, что она другая? Выйдет она за деревенского парня, и будет он ей тыкать, что она корову подоить не может, а она ему—что он Шекспира не читал.

— Я не буду тыкать,—слабо возразила я, в душе немного испугавшись смутного осознания: а действительно так и будет.

— Ей нужен интеллигент какой-нибудь. Чтобы поговорить с ним можно было.

Ленка приняла аргумент:

— Ну, тогда пусть в учебке своей ищет жениха да вместе с ним приезжат к нам. А мы всегда рады. Учителя-то нам нужны.

— Да?—робко уточнила я.

— Спрашивашь!—фыркнула Ленка.—Нина Пална, по математике, работает ещё, а ей семьдесят лет. Физрук приехал в прошлом году... варнак какой-то, с учениками на берегу бухает.

— А по русскому есть же у вас учитель?—спросила тётя Люба.

— Ну, есть одна, да у неё же классов много. Вторая точно не помешат!—уверила Лена.—Так что, девка, приезжай к нам.

Я вспомнила, как говорили об учителе своих детей старики Ушаковы, как были благодарны ему даже по прошествии стольких лет, и во мне горячей искрой зародилась надежда на то, что, может быть, я нашла, ради чего жить.

— Сейчас она будет год учиться, потом опять летом к нам придет,—приобняв меня за плечи, пообещала тётя Люба.

Мы уже поравнялись с Ленкиным домом, в котором на веранде ярко горело жёлтое окошко.—Пойду, Сашка меня ждёт.

Я видела, как она прошла в дом, на ходу скидывая свою олимпийку. Я прищурилась, силясь разглядеть, как спят девочки.

Тётя Люба, наверное, понимала, что мне жалко с ними прощаться, а может быть, и сама не хотела сразу уходить—ведь ей тоже предстояло ехать в город. Обратную дорогу до бабушки мы прошли почти что молча, и только перед самыми воротами тётя Люба вдруг сказала:

— Мало кто в деревню переезжает, но бывает и такое. А я вот—ни городская, ни деревенская; и вся жизнь моя в автобусе Красноярск—Мальцево...

## Лето третье

.....

### Страсти с пельменями

Дорога в город прошла для меня будто во сне. Я была Евой, которую изгнали из рая, хотя смутно пообещали возвращение.

На вокзале ветер крутил мусор, хлопал жестяными крышами ларьков. Мама встретила нас с тётей Любой, накрмила аужином и даже купила в магазине торт, украшенный кремовыми цветами. Наконец она была довольна мной и с радостью отправила первого сентября на праздник в университет.

Неделю или около того я так и оставалась в полусне, ничего вокруг не замечая. Перемена настала на занятии по лагинскому языку. Латынь вёл полный, весёлый и не слишком строгий преподаватель, который с ходу заявил нам, что это простой язык, совсем похожий на русский, и — наверное, в доказательство — написал на доске какое-то диковинное стихотворение:

Oh, non est vesper, non est vesper;  
Valde parum dormivi,  
Valde parum dormivi:  
Oh, et in somnio vidi.

В этих странных словах мне почудилось что-то родное: они звучали как заклинание, способное вернуть меня туда, где жило моё сердце. Я повторяла их вслед за преподавателем и одногруппниками, а потом услышала щелчок магнитофона и льющийся оттуда глубокий и плавный мужской голос, который уносил меня в вечерние предзакатные поля, в луговую даль:

Ой, то не вечер, то не вечер...  
Мне малым-мало спалось,  
Мне малым-мало спалось:  
Ой, да во сне привидело-ось...

Не знаю, каким было моё лицо, но преподаватель обратил на меня внимание и вежливо спросил: — Вы хотите что-то сказать, да?  
— Нет, — спешно оправилась я.

Мы ещё много раз пели на латыни и «Сон Степана Разина», и другие песни. Несколько человек из курса наш весёлый преподаватель выбрал, чтобы записать их пение в студии на плёнку, но, к моему глубокому сожалению, я в это число не вошла.

И всё же после того занятия я воспрянула духом и стала слушать то, что говорили на лекциях и семинарах. Учёба всё больше нравилась мне. После первой сессии я получила две пятёрки и одну четвёрку и с удивлением осознала, что здесь не школа, нет ни геометрии, ни физики, и ничто при желании не может помешать мне учиться хорошо и даже отлично.

Я завела себе несколько приятельниц из группы, ходила с ними в кино, в бассейн, но всё-таки очень скучала по деревне. На январь и половину февраля тётя Люба привезла к себе пожить бабушку, недельку гостили у неё же в квартире Анютка и Виталья.

— Скворешня у вас тут, — уверенно говорила баба Зоя. — Не дом это, а скворешня.

Тётя Люба не спорила:

— Конечно, мамусик. Ты к такому не привыкла. — Да и поздно на старости лет привыкать, — твердила старуха. — И как бабки и деды соглашаются в город переехать на житьё? Ведь там помидоры растут, смородина растёт, цыпляты растут... Всё растёт! А тут что? Сидишь как дура!

Вторую сессию я сдала на все пятёрки и в конце июня уже засобиралась в Мальцево. Мама с удовольствием смотрела на моё рвение.

— К кому ты там едешь? — не понимала она. — К старухам да малым детям? Когда ты уже научишься общаться со сверстниками?

— Я же общаюсь. Он только к Оксане ходила, к экзамену вместе готовились.

— К экзамену... Гулять надо, танцевать, отдыхать! Студенческая жизнь-то так и пройдёт! И вспомнить будет нечего.

Я не понимала, чего мама хочет от меня, да и не стремилась узнать. Когда последние дела в городе были сделаны, я забежала к тёте Любе, чтобы спросить у неё, когда мы поедем в Мальцево, и не без удивления услышала:

— Пока не могу, Настенька. Заказы у меня поступили хорошие, не буду деньги терять. А ты ехай сама, доча. Будешь у бабы Зои жить, она тебя примет.

На второй день после приезда я пошла к Ленке и Сашке. На крыльце у них была свалена куча обуви — женской, мужской, детской, валялись резиновые и плюшевые игрушки. Только я открыла дверь, как увидела подростковую Маринку, которую едва не хлопнула по лбу.

— На-астя! — закричала радостно Лена.

Она снова была беременна — круглый живот явно обозначался под светло-жёлтой футболкой.

— Ну, как ты? Учишься хорошо? Не выгнали ещё, а? — хриловато рассмеявшись, попыталась она подколоть меня.

Я призналась, что сдала сессию на пятёрки. — Да-а, дева... — покачала головой Ленка. — Сейчас умная-преумная станешь, так с нами разговаривать не будешь.

Я догадывалась, что она шутит, но всё равно горячо заверила:

— Я всегда с вами буду разговаривать!

Лена стала собирать мне на стол вкусности, вытаскивала из холодильника грибную икру, солёные огурцы, протёртую черёмуху с сахаром.

— Ешь, ешь. Это всё для ума полезно, — совершенно серьёзно сказала она.

В этот же день мы решили заглянуть к Ушаковым. Только успела я открыть калитку и ступить на дощатый тротуар, как меня за ногу тянула собака — молча, не издав единого звука, дёрнула зубами за штанину так, что разорвала её напроць.

— Ну и собачка у вас! — оправившись от испуга, пожаловалась я дяде Толе. — Даже не гавкнула, сразу тяпнула!

— А чё гавкать попусту? Надо сразу — кусь!

— Я тебе говорю, что на цепь надо её сажать! — вмешалась тётя Катя. — Покажи гачу-то... Ой, мать моя, вся продрана. Ничего, я тебе цветок-аппликацию дам — нагреешь утюгом, приклеишь...

Цветы у Ушаковых были везде — палисадник утопал в васильках и люпинах, вдоль забора набирали рост мальвы, в огороде были отведены две грядки под пионы и две — под гладиолусы. Даже балки крыльца украшали изящные длинные плети какого-то неизвестного мне вьющегося растения.

Два или три дня мы ночевали с бабой Зоей вдвоём, а потом в гости приехал её внук Вася с женой Галькой и маленькой дочкой Алиной. О том, что они могут навестить бабушку, я знала ещё в городе от тёти Любы и ждала их приезда с интересом и предвкушением новых знакомств.

Оказались они совсем не такими, как я их себе представляла. Вася не совсем походил на остальную бродниковскую родовую: такой же большеголовый, но с тёмными коротко стриженными волосами, с широкими чёрными бровями. Несмотря на широкие плечи и грудь колесом, он не напоминал богатыря — наоборот, в его облике было что-то болезненное. Потом оказалось, что первое впечатление меня не обмануло: Вася с рождения страдал пороком сердца, мать в детстве возила его по больницам, ему нельзя было быстро бегать, есть солёное, перенапрягаться, но чем старше он становился, тем меньше становилось ограничений, и к взрослым годам он был уже, что называется, «как все». В отличие от брата, он не уехал в город, остался в деревне вместе с отцом (мать умерла, когда Вася закончил школу) и устроился работать на пилораме.

Теперь ему было двадцать восемь лет, супруге Гальке — двадцать один, а дочке Алине — чуть побольше года.

Галька была полная, румяная, с пухлыми вишневыми губами, которые она часто облизывала кончиком языка. Слегка загорелым у неё было только круглое, с маленьким подбородком, лицо, а руки, несмотря на жаркое в том году лето, оставались белыми. На меня она сразу взглянула с подозрением и задала прямой вопрос:

— А ты кто?

— Это нашей Любы девочка. Соседка её, — представила меня бабушка.

Галька окинула меня снисходительным взглядом и принялась располагаться в отведённой им большой комнате. На подушках она сразу поменяла наволочки, переоблачилась в цветастый махровый халат и потребовала ящик или коробку, чтобы сложить игрушки для ребёнка. Пока она

и Вася возились с вещами, баба Зоя исподтишка кивнула мне на Алинку:

— Слушай, девка-то страшная.

Соглашаться я, конечно, не стала, хотя и вправду головастая, с глазёнками слегка навывкате девочка тоже не показалась мне симпатичной.

— Она просто подрастёт и станет другая, — сказала я.

Баба Зоя пожевала губами.

— Может быть, верно говоришь, израстётся.

Жена Васькина бабушке тоже не очень понравилась. В первый же день старуха угадала, что Галька курит, и заявила своё мнение об этом:

— Не люблю куряк. А уж особенно — когда бабы дымят. Куришь — в огороде кури, а в дому чтобы не думала.

Галька посчитала, что это я сдала её, и с тех пор стала смотреть на меня откровенно неприязненно. Была и ещё одна причина для неё нелюбви: Вася как-то очень любезно расспрашивал меня, где я живу, где учусь, и посматривал на меня с неприкрытым интересом. Мне его внимание было неприятно, тем более что я видела, как сердится от этого Галька.

Когда мне принесли нянчиться Нюрку и Марину, я играла с ними на крыльце, там же сидела баба Зоя. Глядя, как я вожусь с Маринкой, она серьёзно сказала:

— На тебя похожа. Глаза такие же.

В тот год лето было очень тёплое, но не сухое, и полевая клубника поспела уже к самому началу июля. Мы с тётей Валею и ещё двумя женщинами поехали за ней на дяди-Витиной моторной лодке. Росла клубника на другом берегу реки. Я впервые ехала на моторке, разрезающей носом синюю воду, опускала руку в воду, стараясь поймать белый след. Клубники оказалось много, мы ползали по всему полю, набирая один литр за другим. От жары есть не хотелось, закусывали только хлебом и огурцами.

Домой я вернулась вечером. Галька и Вася куда-то ушли. Баба Зоя приняла у меня урожай и похвалила за труды:

— Теперь и засушим, и варенья наварим. Самое вкусное — клубничное варенье-то.

Настроение у меня было хорошее, так что и отдыхать не хотелось. Надо было готовить ужин. Вначале я подумала, что можно просто сварить картошку, но потом решила, что такой знатный урожай надо отметить более шикарным блюдом — хотя бы драниками.

Баба Зоя зашла на веранду, когда я уже раскладывала картофельные оладьи на сковородке. Она какое-то время смотрела на меня, потом погладила сухими пальцами по спине и мягко сказала:

— Совсем деревенску сделали девчонку. С поля приехала, ужин стоговила. Щас сметанки принесу...

Когда Вася с семьёй вернулись с прогулки, баба Зоя опять похвалила меня, чем вызвала Галькину ревность, и та с обидой парировала:  
— Ну и что? А я завтра борщ сварю!

Она в самом деле сварила борщ, и очень вкусный, и тоже удостоилась бабушкиной похвалы. Ближе к вечеру они с Васей неожиданно пригласили меня в бар.

— Мы сегодня в «Сибирячку» пойдём. Хочешь с нами?

Я не то чтобы очень хотела, но рассмотрела этот жест как возможность примирения и безраздумий сказала «да». С Алинкой согласилась остаться бабушка.

В баре мы сели за широкий деревянный стол напротив стойки. Я думала, что Вася закажет пиво или, на худой конец, какие-нибудь коктейли, но он взял водку. Я немного испугалась, потому что водку ещё никогда не пила, не считая рюмочки дяди-Витиноного самогона. Оставалось только надеяться, что опьянеть мне не дадут пельмени—Вася взял три порции пельменей с майонезом да ещё какие-то пережаренные беляши с мясом.

Заиграла популярная в тот год «Широка река», Вася пригласил меня танцевать. Мы топтались на одном месте, он смотрел на меня с неприятной внимательностью, крепко держа широкие ладони на моей талии, а мне хотелось только одного—чтобы прекратились из динамика завывания про эту клятую реку, коня и окаянную любовь и все сели по местам до следующей песни.

— За-а-ая,—позвала томным голосом Галька и потянула к мужу руки.—Иди сюда.

Она сама обхватила его шею, впилась губами в его губы, а я была только тому и рада.

К нам подсели двое каких-то не то мужиков, не то парней, стали разговаривать со мной, но я уже порядком захмелела от стакана водки и не совсем соображала, что говорю. В голову как будто напихали ваты. Помню, что парни смеялись, угощали меня каким-то питьём и копчёным сыром.

Вася с Галькой ещё танцевали, верней, висели друг на друге, а мне как-то внезапно сделалось скучно и захотелось спать. Я смотрела, как мельтешили в баре парни, девушки, кричала что-то большегрудая баба, хлопала входная дверь, звенели бутылки, визжал и требовал какую-то игрушку принесённый сюда ребёнок двух-трёх лет от роду, которого, видно, не нашли с кем оставить. Вся эта вакханалия, сдобренная напористой музыкой, стала сильно утомлять меня. Я вспомнила, что дома у нас Алинка, а с ней только бабушка, и кто знает, всё ли у них хорошо.

— Пойдёмте домой!—попросила я Гальку.— Там ведь ребёнок у нас!

— С ней бабушка!—отмахнулся Вася.

— Пойдём!—жалобно просила я.

Мы просидели в баре ещё час или два, когда, наконец, мои спутники собрались возвращаться домой. Я боялась, что идти будет тяжело, но только немного кружилась голова.

Алинка в самом деле проснулась. Баба Зоя встретила нас прямо в сенях:

— Не спит ваша девка! Трясу её, трясу, а она никак!

— Я же её уложила!

— Ты уложила, а она проснулась! На, успокаивай её сама.

Галя села кормить дочку грудью, а я сразу бухнулась спать.

На другой день Саша и Ленка узнали, что я ходила в бар, и, к моему удивлению, начали костерить меня на чём свет стоит.

— Ты совсем сдурела, чума болотная?!—кричала Ленка.—В бар потащилась! Да там кто сидит? Кого там доброго найдёшь?!

— Чё, пельменей не ела?—поддерживал её Сашка.—Свари дома пельмени и жри!

— А этой Гальке, свинье толстомордой, я покажу, как тебя портить,—пригрозила Ленке.—Пушай сами эту водку глыкают.

— Давай-ка лучше вон на покос собирайся,—сказал Сашка.—Поедешь с нами завтра?

— Поеду!—обрадовалась я.

### Сюрприз на день рождения

В прошлом году на покосе я больше отдыхала, чем работала: стоило нам только приехать, дядя Толя Ушаков с чувством разводил костерок, кипятил чай, и мы изрядно набивали животы хлебом и консервами, перед тем как пойти орудовать вилами. Да и во время работы, хотя никто особенно за мной не следил, я чувствовала себя под опекой тёти Любы, как бы «при ней», и могла никуда не торопиться и не стараться изо всех сил, спокойно присматриваясь к тому, что делают другие.

Сейчас мы поехали вшестером—четверо мужиков, включая Сашку, тётя Катя Ушакова и я. Не было ни Ленки (она доаживала уже седьмой месяц беременности), ни даже старого Ушакова, который мог бы меня побаловать чайком. В Сашкином тракторе без бортиков я ехала, вцепившись для надёжности в мешок цемента, с самым серьёзным видом, понимая, что сегодня трудиться придётся не на шутку.

— Девушка, а ты бы кого хотела себе родить? Мальчика или девочку?—решил позаигрывать со мной рябоватый плотный мужичок.

Я буркнула, что не знаю, но он не отставал, и тогда я сказала, что, наверное, мальчика.

— Ну и правильно. Зачем тебе девочка? Ты же сама девочка. А ты знашь, я ведь и мальчика, и девочку умею делать,—шутиливо похвастался мужичок.

— Знаем! Вон у тебя дома оба сидят, а в придачу к ним дедушка и бабушка,—отшила моего ухажёра тётя Катя, вызвав всеобщий смех.

Поели мы наскоро и принялись за работу. Я старалась поспевать за остальными, но мне явно не хватало сноровки и опыта. Часа через два я уже чувствовала, что натёрла мозоли, несмотря на перчатки. К концу «смены» по спине у меня катился пот, но, к удивлению, сильной усталости не чувствовалось.

Сашка привёз меня на тракторе прямо до дома и отчитался бабе Зое:

— Семь копён поставили. Сено ещё не просохло, да дождь будет. Потом, как солнышко выглянет, разобьём, просушим.

Наливая себе кипяток, нарезаая хлеб, он как бы невзначай добавил:

— Настька тоже хорошо работала.

— Откуда ты знаешь, как конны ставят?— удивлённо спросил Вася.— Ты же городская.

Я пожалала плечами:

— Мама говорила, у меня дед по отцу был председателем колхоза.

— Ну вот, как кого городского ни возьми— так родня-то всё равно из деревни,— довольно сказала баба Зоя, одобрительно похлопав меня по спине.

За ужином она вытащила для меня и Сашки по парочке шоколадных конфет, которыми, по своему обычаю, награждала только чем-нибудь отличившихся.

Гальке, конечно, это не понравилось, и она решила в ту же ночь продемонстрировать мне своё превосходство. Устав за день, я ушла спать пораньше, но только стала чувствовать, что проваливаюсь в дремоту, как услышала смешки, а потом и стоны. Стонала Галька громко, явно желая, чтобы мне было слышно. Я вздохнула, вытащила из-под кровати прочитанный уже на две трети «Собор Парижской Богоматери», почитала немного и, сморённая усталостью, всё-таки отключилась.

Утром на кухне Галька, со вкусом потягиваясь, спросила меня:

— Мы тебе сегодня не мешали?

— Да нет...

— Хорошо,— лукаво сощурила она серые глаза.— А то, знаешь, я привыкла эмоций не сдерживать. Когда хорошо мне, то не могу молчать...

Я почувствовала обиду не столько оттого, что мне так явно указали на мою неопытность, сколько оттого, что я ведь не сделала Гальке ничего плохого, а она всё равно невзлюбила меня. Впрочем, через какое-то время я поняла, что она преподала мне урок: никогда не удаётся быть хорошим для всех, не стоит к этому и стремиться.

Вася, однако, всё равно не отставал от меня, навязчиво и подробно рассказывал, как он с отцом разводит пчёл, какие ставит ульи и сколько собирает мёда, как ловит рыбу ставными сетями и на самоловы. Мне иногда казалось, что ему просто одиноко, и я из вежливости пыталась слушать его. Но всё-таки он был изрядно докучлив и неприятно

любезен, а самое главное—я прекрасно видела, как эти его разговоры злят Гальку, и меньше всего хотела вносить между ними разлад.

Я съездила на место ещё три или четыре раза, потом Сашка сказал, что управится без меня. К тому времени поспела красная и чёрная смородина в бабушкином огороде, и Лена для компании тоже пришла к нам её собирать.

— Вы что, предохраняться не умеете?— насмешливо спросила Галя, глядя на Ленкин круглый живот.

— А тебе что?— присовокупив матерок, ответила та.

— Да ничего... Пожили бы хоть немного для себя. Молодые же ещё.

Галька томно вздохнула, потянулась и мечтательно прибавила:

— Сидим мы в этих проклятых деревнях, копаемся в земле, а съездить бы, мир посмотреть!

— Кто-то должен и в земле копаться,— парировала Ленка.— Кто же будет народ кормить? Картошку, тыкву сажать, коров доить? Вот это и оказались мы.

— Ну да, ну да,— снисходительно согласилась Галька.— Только вот почему именно мы? Некоторые свободно живут, ездят везде, в страны всякие. А тут мужики эти, дети... свёкры до кучи.

— Как без мужика жить? Вот Сашка иной раз достанет, думаю: как задолбал! А если он уедет по работе хотя бы на день, я без него места себе не нахожу. Думаю: как он там? Доехал бы благополучно... И когда он дома, уснуть одна не могу. Он шарается по комнатам, я его зову. Иди, говорю, сюда, угомонись уже! Без него чего-то не хватает...

— А я знаю чего,— прикусила пухлую вишнёвую губу Галька, кошачьим взглядом в упор глядя на Сашкину жену.

— Да пошла ты!— озлилась Ленка.

Незаметно подошёл август и Маринкин день рождения. Лена попросила меня прийти с утра, помочь ей накрыть на стол. Санька в тот день работал и должен был явиться домой только к вечеру, но переносить праздник Ленка не захотела. Когда я пришла, она вручила мне список для магазина, в котором среди прочего значились две бутылки водки и полторашка пива, и попросила принести всё поскорей.

Мы вдвоём сделали куриные котлеты, три салата, наготовили бутербродов. Анютка и Марина суетились около нас, ухватывая со стола то краюшку хлеба, то кусок огурца. Когда всё почти было закончено, Ленка вдруг сказала мне:

— Пойду-ка я полежу. Знаешь, устала... Гости придут—ты сама встречай, скажи, я минут через двадцать выйду.

Я отправила её отдыхать, заверив, что всех впусти и посажу за стол. Пришли Ушаковы, Васка и Галька, ещё трое каких-то незнакомых мне и не слишком приятных на лицо людей. Лена вышла к столу в длинном сером платье, похожем

на старинную домотканую рубаху, и цветом лица мало отличалась от своего наряда. Я тревожно смотрела на неё, пока гости ели, пили и тискали девчонок.

В какой-то момент Ленино лицо как будто свело судорогой, и тут сидящая напротив покрасневшая от вина Галька испуганно вскрикнула:

— Ма-ать! Да ты что, рожаешь?!

Ленка молчала долгие секунды, а потом смиренно кивнула:

— Вроде да.

Неизвестных мне гостей как будто сдуло ветром, дядя Толя Ушаков стал громко сокрушаться, что его «уазик» сейчас сломан. Вася побежал искать машину, и Галька утянулась вслед за ним.

Мы остались с Леной вдвоём. Она прилегла на маленькую тахту со спинкой, где спала Анютка, и, облизнув пересохшие губы, попросила меня: — Настенька... Там на кухне, в хлебнице, документы в файле лежат, приготовь...

Я принесла бумаги, потом стала доставать из шкафов и тумбочек нужные вещи для роддома. — Ты прости уж, что так вышло,— извинялась Ленка.— Мне же ещё не срок. Я думала, только к концу месяца рожу или вовсе в сентябре...

Я погладила её по худым загорелым рукам, на которых выступали вены, отчаянно желая успокоить: — Это ты меня прости, что я смотрела и не догадалась, что ты скоро родишь. Сейчас Васька придёт, на машине повезут тебя в райцентр...

Лена не стонала и не кричала, но по её тяжёлому шумному дыханию и по тому, с какой силой она упиралась ногами в спинку тахты, я догадывалась, что ей несладко. Девчонкам я включила видик со «Смешариками», чтобы не бегали по дому, а сама сидела на полу рядом с Ленкой, изо всех сил желая, чтобы поскорей нашлась машина.

Когда глухо стукнула дверь, я подскочила, думая встретить Ваську, но внезапно увидела не кого иного, как тётю Любу. На мгновение я застыла перед ней в немом удивлении, а потом кинулась ей на шею. Тётя Люба здесь! Значит, всё теперь будет хорошо.

Оказалось, её подвёз на машине дяди-Витин старший сын Семён. Чисто случайно она сразу по приезде решила пойти навестить Лену и тут столкнулась с бегущим куда-то Васькой.

Машину для Ленки пригнали. Помогая ей усаживаться, тётя Люба отчитывала молодую мамашу: — Ты как будто первый раз, а! Если бы дома родила?! Настька бы роды принимала?

Я ошеломлённо протягивала пакеты с вещами, воображая, что бы мы и впрямь делали в таком случае.

— Не поняла я... — оправдывалась Ленка.

— Ладно, тебе и так плохо. До больницы-то смотри доезжай!

— Доеду...

Тётя Люба попросила меня остаться и, если она к утру не вернётся, отвести девчонок в садик. Вася и Галька поспешили к бабушке — сообщить новость.

Санька вернулся часам к восьми вечера. О том, что Лену увезли в роддом, он уже знал. Я дала ему поужинать макароны с лечо, и он молча всё съел, сказав только два слова:

— Масла мало.

Потом ушёл кормить скотину, доить корову.

Часам к десяти наконец позвонила тётя Люба. Трубку, конечно, взял Сашка, но я села около него и прекрасно слышала, как на том конце провода радостно сказали:

— Родила! Почти как приехали, так и родила. Позвонить возможности не было. Нормально вроде всё! Два кило девятьсот, рост сорок восемь сантиметров. Мать живая, весёлая. Страху набралась!

— Ты скажи, кого родила-то?

— Мальчика!

Сашка засмеялся:

— Спасибо, тётка!

Он бросил трубку, накинул рабочую куртку и умчался куда-то. Я уложила девчонок и легла спать сама. Сашка вернулся под утро, был пьяный и, не раздеваясь, лёг спать. Я осторожно закрыла его каким-то пледом, а в половине седьмого, как только прозвенел будильник, принялась тормозить девчонок. Они ныли, не хотели одеваться. Я кое-как заплела их, натянула колготки, напялила, какие нашла, платья и повела по главной улице до детского сада. Увидев воспитательницу, Анютка успокоилась и пошла в группу. Марина же уцепилась за меня.

— Мариночка, доча, иди,— подражая интонациям тёти Любы, сказала я.— Вечером заберу тебя. Поиграешь, поешь, поспишь — там я и приду.

После садика я побежала к бабушке, позвонила от неё в роддом, попросила позвать Елену Бродникову.

— Настька, ты! — радостно звенел в трубке Ленкин голос.— Ты моя родня самая лучшая! Как там доченьки мои?

— Хорошо, в садике.

— А Санька?

— Нормально,— соврала я.

— Ну и слава Богу. А у меня тут хорошо! Лежу, отдыхаю, с бабами разговариваю, ребяточка кормлю! Слушай, красавица моя: там у нас малина осыпается, наверное. Ты собери её, а?

— Соберу и сварю.

— Ой, спасибо, дорогая!

Сашку привела в чувство его мать, младшая тёти-Любина сестра: зайдя при мне в дом и увидев на столе бутылки, она начала так кричать благим матом, что я не один раз вздрогнула. Мы вместе с ней стали мыть окна, выбивать коврики, протирать шкафы. Сашка, оправившийся от

внезапного счастья, покрасил свежей голубой извёсткой печку.

На шестой день Лену с ребёнком должны были выписать. В доме окна сияли чистотой, в комнатах и на кухне царил порядок, еды было приготовлено на два дня вперёд.

Мы поехали на ушаковском «уазике» — хозяин машины, разодетый в рубашку и брюки со стрелками Саня, его мать и я. Тётя Люба добровольно уступила мне место в машине, видя, как сильно я желаю поехать за Ленкой в райцентр, и осталась с девочками.

Лена вышла на крыльцо в брючном костюме, в расстёгнутом пиджаке, под которым виднелась белая футболка, растянутая на набухших грудях. — Родня приехала! — весело оглядела она нас.

Сдав ребёнка на руки довольному отцу, она крепко обняла меня, потом объятием поприветствовала и свекровь, и старика Ушакова.

Заходя во двор, Ленка, несомая по волнам какой-то дикой, неумённой радости, горячо приветствовала всё живое:

— Здравствуй, ты, мой огород! Здравсьте, куры! Здравсьте, кролики!

Она подошла к сторожевому псу Северу и стала нежно трепать его вислые уши.

— А-ах ты, сволочь! Старый ты чёрт! Расцеловала бы я тебя!

— Ну уж ты скажешь! — проворчала тётя Зина.

В доме был недолгий праздник: выпили чаю с тортом, от которого родильница попробовала только маленький кусочек, поздравили молодых отца с матерью ещё раз и стали расходиться. Ленка, уже переоблачившаяся в привычный спортивный костюм, провожала меня на крыльце. Ветер трепал чёлку её каштановых волос, щёки у неё цвели румянцем, карие глаза лихорадочно блестя.

— Приходи завтра, моя красавица, — настойчиво приглашала меня она. — Мы тебе всегда рады.

Я обняла её на прощание, смутно удивляясь этой бурной радости, которой отчего-то не было, когда родилась Маринка, и невольно заражаясь от Ленки безотчётным счастьем и желанием куда-то лететь. Я возвращалась к бабушке в обход по щёбёнчатой дороге, шла не спеша и думала о том, что когда-нибудь и я вернусь вот так из роддома — и кто тогда будет встречать меня?

## Приёмная жена

Я ходила к Лене каждый день, но моя реальная помощь теперь была уже не очень нужна — заботу о девочках пока взяла на себя бабушка, тёти-Любина сестра. Другого внука, Витальку, она на ближайшее время вернула родителям, Кольке и Полине, в Ключи.

— Вот и правильно, — одобрял свою мать Санька. — А то как родили, так и сдали на руки тебе. Пусть пацан хоть дома поживёт. А нам ты сейчас нужна.

Тётя Зина помогала не только с детьми и домом, но и во дворе с работой справлялась, понятное дело, лучше меня. Я очень тосковала, что меня так и не научили доить корову или хотя бы козу, и на мои просьбы показать, как это делается, смотрели как на блажь. А мне так хотелось всё уметь!

Конечно, Ленка была рада, что я прихожу, и без всякой помощи с моей стороны. Да и тётя Зина встречала меня тепло, угощала свежими булочками-розанами с расплавленным на верхушке сахаром. Но уже было явно неуместно торчать у них в доме по полдня. Я приходила утром к завтраку, любовалась на то, как Лена кормит и баюкает сына, играла с девочками. Пока у Ленки жила свекровь, Анюту и Маринку решили не водить в садик. Они накидывались на меня прямо на пороге с криком «Настя!» и волокли к себе в комнату. Анютка прямо душила меня в своих объятиях, валила на пол, смеялась. Маринка была скромней, но тоже любила обнимашки.

— Загоняли они тебя, — со снисходительной улыбкой говорила тётя Зина.

— Не-ет! — успокаивала я. — Они смешные.

Я любила гладить Маринку по слегка загорелым мягким ручкам, по рыжевато-русый, как у Лены, волосам.

— Хорошей матерью будешь, — сказала мне как-то Лена.

А во мне к тому времени поселилось опасение: смогу ли я вправду стать настоящей женой и матерью? Впрочем, матерью, наверное, смогу — я ведь люблю детей и готова взять на себя труды о них. Но женой? Как это — быть женой? Что нужно делать для этого?

Ещё в прошлом году, когда Санька был дома, я присматривалась к тому, как они общаются между собой с Ленкой. Она всегда накрывала ему на стол, и только когда муж поест, кормила детей и ела сама. Они много всего делали вместе: кололи дрова, ходили за скотиной, ездили на огороды, но трудно было сказать, объединяет ли их что-нибудь, кроме бесконечной деревенской работы. При мне они никогда не обнимали друг друга, не говорили ласковых слов. Впрочем, что касается Ленки, то тут я сомневалась, что она вообще знает какие-нибудь ласковые слова: их ей заменяли ругательства, произносимые нежным тоном. И непослушную скотину, и расшалившихся дочек она называла «чума болотная», «зараза», «сволочь», «бестолочь», а любимую Сашкину собаку Севера часто гладила и трепала за ушами, приговаривая:

— Старый ты хрен!

Однажды, когда я не стала есть оставленное мне лакомство, Ленка пожурила меня:

— Ну и что ты черёмуху не съела, бичёвка? Съедят ведь другие, в большой семье не щёлкай клювом!

Сашка же был всегда угрюм и вообще мало разговаривал.

Галька же с Васей, наоборот, говорили много — и меж собой, и с другими, называли друг друга то «зая», то «киса», и любили обниматься, не считаясь с тем, что находятся не одни. Мне в мои семнадцать лет, понятно, тоже уже хотелось с кем-нибудь позажиматься, но всё-таки я была уверена, что так откровенно показывать свои чувства не стоит. Да и в чувства Галькины не так уж верилось: зачем бы ей навязчиво показывать их, если и так всё хорошо?

После того, как Лену увезли на машине в больницу и я стала пропадать в их с Сашкой доме, Вася, похоже, утратил ко мне интерес, и Галька стала обращать на меня внимания столько же, сколько на мебель. Она взяла на себя приготовление супов и пирогов, расхаживала по дому в цветастом халате, из-под которого виднелась длинная ночная сорочка, и томным голосом напевала:

В лунном сия-анье  
Снег серебри-ится.  
Вдо-оль по доро-оге  
Тро-очка мчится.  
Динь-динь-динь, динь-динь-динь,  
Колоко-о-ольчик звени-ит.  
Этот звон, э-этот звон  
О любви говори-и-ит.

Слова «о любви», равно как и «динь-динь-динь», Галька пропевала особенно старательно и душевно.

Ещё одним примером жизни в паре была семья моей подружки Ольги. Дома у неё верховодила мама, она распоряжалась деньгами и принимала все важные решения, а отец жил дачей и лесом. Рано поседевший, с добрыми и печальными светло-голубыми глазами, от углов которых лучами расходились морщинки, он был похож на папу Карло в исполнении Николая Гринько. Мне казалось, что он очень хороший, чуткий человек, и я осуждала Олю, которая лет в тринадцать вслед за матерью стала звать его Шуриком:

— Какой же он тебе Шурик? Ведь это — папа.

— Мама так говорит, — пожимала плечами моя подружка, решительно не понимая, что тут такого.

Я звала Олиного отца дядей Сашей, и мне многое в нём нравилось: как он всегда вежливо приветствовал меня: «Здравствуй, Настя, проходи», — и предлагал какао или кофе; как помогал Ольге с физикой, терпеливо объясняя ей законы природы, а ещё раньше — рисовал за неё картинки на изо. Как рассуждал об обществе и о политике; рассказывал разные вещи про лес — как в нём не заблудиться, находить разные грибы, развести костёр...

Был всё-таки недостаток и у этого прекрасного человека: он не работал. Уже четыре года как дядя Шурик зимой штудировал газеты или бегал на лыжах, а с наступлением весны перебирался на дачу, которая по-настоящему и становилась его домом.

Жил он на деньги, которые остались от продажи дома его тётки где-то в Вологодской области.

— Ты представляешь, о чём он думает? За квартиру платить, кредит платить, есть надо, а он дома сел! — жаловалась мне подружка словами своей матери.

В общем, ни один из примеров семейных отношений, которые были у меня перед глазами, не давал исчерпывающего ответа на вопрос: зачем всё это нужно? Я как-то рискнула спросить у мамы, для чего выходят замуж, и она ответила очень резко:

— Чтобы человек заботился о тебе! Чтоб защищал! Чтобы быть за ним как за каменной стеной!

Это было не очень понятно: от чего меня надо защищать и к чему прятаться за какую-то стену? Мама на моей памяти никогда не имела отношений с мужчинами. Раза два или три, когда мне было лет восемь, к нам приходил в гости один интересный тип, бывший инженер, сокращённый с завода в девяносто пятом году, но мама скоро дала ему от ворот поворот, обозвав «пустым человеком». Я рассудила, что не очень-то нужна ей каменная стена, да и вообще не нужны мужчины.

Становиться такой, как мама, мне точно не хотелось. Оставалась ещё тётя Люба. Но и она не была замужем. Точнее, была когда-то раньше, а потом, когда они то ли расходились, то ли крупно поссорились, этот муж в порыве злости поджёг тётю-Любину квартиру. Эту историю от меня не скрывали, но тётке не нравилось о ней вспоминать. Чтобы не тревожить чужие раны, я решила задать вопрос в философском ключе, как бы обо всех: — Тётя Люба, а что лучше — семейная жизнь или одиночество?

Она немного подумала.

— Тут можно выстроить градицию: хороший брак — одиночество — хреновый брак.

Для меня после этого ответа показалось очевидным, что она выбрала одиночество вместо плохого брака.

Но это оказалось не совсем так.

Однажды, уже в двадцатых числах августа, мы с тётей Любой и Галькой пошли за грибами. Галька жаловалась, что ей надоело жить с ворчливым и придиричивым свёком, который, как на грех, всё умеет делать руками, даже пироги с капустой печь, и при случае всегда укажет на ошибку.

— И вообще, в город бы переехать. Чтобы не пахать на огороде, от комарья этого избавиться. Свет увидеть!

— А что бы ты в городе делала? — полюбопытствовала тётя Люба.

— М-м-м... — Галька сладко причмокнула губами. — В ресторан бы пошла.

— Зачем тебе ресторан?

— Там культура. Сядешь за стол, ешь всякие блюда, а кругом музыка играет, даже скрипка поёт.

— Да уж, красота. Великолепие! — с преувеличен-ным восторгом поддакнула тётя Люба.

Галька не заметила её иронии.

Когда мы забрались в осиновый лесок, где уже начали краснеть круглые дрожащие листья, тётя Люба закурила и медленно сказала:

— Знаете, девочки... Завтра Рустам мой придет. — Да? Мы же с Васей как раз послезавтра уезжа-ем, так ещё успеем познакомиться. Автобусом? В шесть?

Я видела Рустама последний раз зимой, не-сколько месяцев назад, да и то мельком. Он сидел с тётей Любой рядом на всех её днях рождения, но я ничего не могла сказать о нём, кроме того, что он среднего роста, с широкоскулым лицом и хорошо умеет танцевать. Он был для меня естественен, но неинтересен, как спутник, испокон веку вращаю-щийся вокруг большой планеты.

Но Галька стала так живо интересоваться этим человеком, что мне пришлось узнать о нём боль-ше.

— А чем занимается он?

— Индивидуальный предприниматель.

— Вы давно с ним? Он вас намного старше, нет?

Тётя Люба как-то невесело усмехнулась:

— Он меня младше на пять лет.

— О-о! — издала Галька возглас одобрения и ува-жения.

Тётя Люба немного отошла от нас, достала из пачки ещё одну папиросу.

— Можно мне? — робко улыбаясь, попросила Галя.

Тётя Люба молча протянула полупустую пачку.

— Спасибо... А вы с ним не женаты?

— У него есть жена. И трое детей.

Я не сразу поняла смысл этих слов: мне хотелось, чтобы они просто послышались, как шум ветра в осиннике, как треск сухих веток под ногами, — случайно прозвучали и ничего не значили.

Наверное, я на какое-то время зависла в про-страции, потому что очнулась от Галькиного на-смешливого окрика:

— Смотри об корягу не запнись!

Грибов мы в тот день не собрали, кроме все-гдашних шампиньонов, прячущихся в зарослях густой крапивы. Баба Зоя с неудовольствием при-няла наш скудный урожай:

— Опять шпиёнов набрали. Сами возитесь с имя.

Дома я немного пришла в себя, но в голове продолжала крутиться одна мысль: как может быть такое, что этот человек женат? Ведь если у него есть жена, почему он приезжает сюда, соби-рается жить здесь и ночевать? Да, ночевать — с тётей Любой, естественно...

В детстве, когда я слышала, что тётка в разго-ворах называла Рустама «друг», то так попросту и думала, что они дружат. Теперь мне, конечно, было понятно, что их отношения явно выходят за рамки дружеских, но увязывать этот факт

с убийственными словами о том, что он женат, я не могла, не хотела.

Возвращаясь в уме к этим двум не склады-вающимся в картину деталям, я придумала себе объяснение: да, он в самом деле женат, но только на бумаге, формально. Он не живёт с женой, ну а взять к себе жить тётю Любу не может, потому что у него какая-нибудь маленькая квартира... нет, не квартира, а просто комната в коммуналке. И вообще, он не разводится со своей бывшей женой потому... потому... потому что потеряет льготы. Точно, он потеряет льготы, а может, и дети потеряют льготы, — вот почему и сохраняется этот брак, но, разумеется, только на бумаге.

Какие такие льготы грозит потерять Рустаму и его детям, я не задумывалась — запретила себе задумываться.

Вечером тётя Люба и взбудораженная любопыт-ством Галька пошли встречать Рустама на оста-новку. Я увидела его уже внутри дома — не очень высокого, но крепкого, загорелого, в наглаженной рубашке с рукавами до локтей, в тёмно-синих джинсах и чёрных кожаных туфлях.

Галька разглядывала его с таким жадным внима-нием, с каким учёный-энтомолог изучает редкую бабочку.

— З-здрасьте, — буркнула я.

— Это Настя, ты её знаешь, — ласково протянула тётя Люба. — Это вот племянник мой Василий, жена его Галя.

— Галя, — учтиво повторила Васина супруга.

— Ну и мамусик! — шутливым тоном представила тётя Люба вышедшую из комнаты бабушку.

Рустам поставил дорожную сумку на стул и вдруг с самым галантным видом приложился губами к сухой жилистой руке бабы Зои.

— Ну, показывай, что у тебя там, — нетерпеливо объявила она.

На клеёнчатом столе появились две бутылки белого вина, сервелат, сыр, апельсины, коробка конфет. Последним Рустам достал мешочек с чи-щеными грецкими орехами:

— Это вам, мама.

— Знаешь, что люблю, — деловито кивнув, согла-силась баба Зоя.

Пужинали мы жареной картошкой, которую приготовил Вася, а потом Рустам откупорил бу-тылку, Галька побежала к старому жёлтому шкафу за бокалами, и все стали угощаться, закусывая вино сыром, сервелатом и даже нарезанными на кружки апельсинами.

Из вежливости я выпила свой бокал и попро-силась уйти под предлогом усталости.

Глядя на этого человека с его новыми джинса-ми, модной стрижкой, кургуазными манерами, я с нарастающей ясностью понимала, что он и вправду женат, по-настоящему, не когда-то в про-шлом, а именно сейчас. И, скорее всего, приехал

сюда, в деревню, прямо из дома, где живёт с женой. Может быть, она даже укладывала ему вещи. Наверное, думала, что её муж отправляется в командировку.

А он приехал сюда, и ему наплевать, что *всё это неправда*. Всё в нём фальшивое: и эти чёртовы манеры, и туфли, и джинсы, и то, что бабу Зою назвал мамой.

Но чёрт с ним, пусть живёт как хочет, врёт или нет... Но ведь... с кем он врёт? С кем обманывает жену?

Я забилась в угол на своей скрипучей железной кровати, обхватив руками колени и желая отогнать от себя стучащую в виски мысль: ни с кем иным, как с тётёй Любой!

Этого не могло быть, но всё-таки было: *моя* тётя Люба всегда знала, что он женат, и всё-таки принимала его у себя и помогала ему лгать семье. Сколько они вместе? Десять лет уже, кажется... Может быть, жена давно в курсе и живёт, мучаясь, с этим предателем. Он говорит ей, наверное, для вида, что пошёл по делам. А может, вообще уже ничего не говорит. И тётя Люба тоже всё это знает и всё равно продолжает ранить ту женщину, его жену...

Я заплакала, глуша рыдания подушкой. Тётя Люба, которая была для меня самым лучшим человеком, самой хорошей женщиной, которую я знала, оказалась просто воровкой чужого счастья. Сердце у меня нестерпимо ныло, душили слёзы.

И ведь никто специально не скрывал от меня, что Рустам женат! Я знала, что он приходит к тётё Любе каждую среду, знала ещё с седьмого класса. Она звала меня заниматься математикой по вторникам и четвергам, а в среду велела не приходить. Я даже вспомнила, как слышала слова: «У него есть семья», — в разговоре тётю Любы с моей мамой. Почему я не допетрила, что это значит — жена и дети? Почему я вообще прожила столько лет, считая, что знаю тётю Любу, а сама даже была не в курсе главного обстоятельства её жизни? Слишком была занята своей чёртовой персоной, чтобы разуть глаза и сообразить, что происходит вокруг!

На короткое время мне показалось, что моя никчёмная злость глупа: из-за чего я, в конце концов, разрыдалась? Слышно было, как в кухне громко разговаривали и смеялись. «Они пьют вино, едят колбасу. Им хорошо, они смеются, а ты рыдаешь. Дура ты, дура. Не зря тебя мать называла Аэлитой и говорила, что ты ребёнок не от мира сего», — пренебрежительно сказал внутри меня какой-то чужой голос.

Но уверить себя в том, что всё нормально, я не смогла. Мне не хотелось даже снять вещи — я так и уснула в тот вечер одетой, прижав к себе влажную от слёз подушку.

Разумеется, назавтра все вели себя как ни в чём не бывало. А меня ни с того ни с сего взяла злость

ещё и на бабу Зою. Я вспомнила, как она с явным предвкушением знатных гостинцев смотрела на сумку Рустама, как одобрительно кивнула при виде орехов и вина.

«Жадная старуха, — безжалостно подумала я. — Лишь бы гостинцы получать, а от кого — не важно. Не зря всю жизнь в торговле проработала».

С презрением я посмотрела и на Гальку с Васей. Нашлись тут «зая» и «киса» из деревни Тяпкино-Ляпкино. Не при ваших габаритах играть Ромео и Джульетту. Я брезгливо поглядела на растрёпанные Галькины волосы и ночную сорочку, привычно торчащую из-под халата.

Галька тем временем подала на стол в большой сквороде свежепожаренную яичницу с луком, помидором и салом. Яичница аппетитно шкворчала. — Вот, Галя, уж спасибо тебе, — поблагодарила её за завтрак баба Зоя. — Кто рано встаёт, тому Бог даёт. Приезжайте в будущем году ещё погостить.

К столу подобралась на толстых кривоватых ножках Алина. Старуха вдруг выдала:

— А ты знаешь, Галя, мы с Настей как первый раз вашу Алинку-то увидели, подумали: ну, чё-то страшная девка. А теперь я пригляделась и вижу: нет, ничё себе девчонка. Да, Настя?

Галька враждебно глянула на меня, а Вася деланно посмеялся:

— Ну и шутки у тебя, баба.

Старуха какое-то время молчала, а потом подколола уже тётю Любу:

— Я вот вспомнила, как Настя маленькая к нам приезжала. Лет в семь. Тоже тогда Рустам был. Так она сказала: тётя Люба жена не родная, а приёмная. Настька, она с малых лет всё знает.

Баба Зоя сухо посмеялась, а мне стало жутковато и стыдно: таких своих слов я не помнила.

После завтрака Вася с Галькой стали собирать вещи. Я бесцельно ходила по дому, по огороду. Тётя Люба, будто назло, была со мной приветливой, как всегда, и даже как словно бы ещё ласковей, чем обычно. Выйдя во двор готовить огурцы для засолки, она увидела, как я слоняюсь по огороду, и участливо спросила:

— Настя, у тебя голова болит? То к бане прислонись, то к дому.

От одного звука её голоса мне в сердце ударила тёплая волна, но я твёрдо решила не верить ничему и холодно ответила:

— Да. Болит немного.

Когда Вася, Галька и Алина уехали, я решила позвонить маме. Обычно мы говорили с ней по телефону два раза в неделю, и чаще набирала номер она. Мне не очень хотелось звонить ей, всё время были какие-то дела — то ягоды, то дети, то покос. Но теперь я вспомнила о матери и заключила про себя, что она, если судить по уму, лучше тётю Любы. Ведь она не воровала чужого мужа, а всю жизнь только и делала, что работала, поднимая меня. Она

не развлекалась на танцах и в театрах, а пахла как проклятая на работе и в офисе. Значит, она честнее и больше достойна всяческого уважения. Почему раньше я этого не понимала?

Я набрала номер, дождалась, пока соединили с городом, и дрожащим голосом произнесла:

— Привет, мама.

— Здравствуй, — равнодушным тоном ответила мне она. — Что звонишь?

— Я... я просто так.

— Вспомнила про мать?

— Да, — горячо отозвалась я. — Да, мама, вспомнила.

— Ну, вспомнила, так приезжай. Время уже.

— Да, конечно. Завтра. Или послезавтра. Как будут билеты.

— Ну, сообщишь мне, в какой день поедешь, — уже мягче сказала мама. — Я тебе цветную капусту куплю, лисички, со сметаной пожарю.

Я вспомнила, что грибы со сметаной всегда вкусно готовила тётя Люба, и опять ощутила подступающий к горлу комок.

Когда тётка зашла в комнату, я немедленно объявила ей:

— Завтра уезжаю в город.

— Ну, по времени, в общем-то, пора... За пять дней подготовишься к учёбе, — спокойно согласилась она. — Жаль только, мы с тобой этим летом и погуляли-то мало. Сходили бы за белыми с Рустамом вместе. Фотоаппарат бы взяли. Может, денька два ещё побудешь?

— Нет. Поеду.

— Ну, давай перекусим да пойдём на кассу.

Мы купили билет на завтрашнее число. Я зашла попрощаться к Ленке. У неё девчонки опрокинули и разбили какой-то кувшин, она кричала на них матерными словами, а тётя Зина, в свою очередь, кричала на неё:

— Опять у тебя куры в огород зашли! Что ты, к чертям, за хозяйка?!

Увидев меня, они немного сбавили пыл, предложили мне чаю, но я понимала, что зашла в неурочный час, и пробыла не дольше десяти минут. Сашки дома не было.

Утром на автобус меня стала провожать баба Зоя. Она нарезала мне хлеба, намазала его сметаной и достала из своей заветной кастрюльки шоколадные конфеты. Пока я пила чай, она смотрела на меня, подперев щёку морщинистой рукой в старческих пятнах, слегка жевала губами, думая о чём-то.

Мне вдруг стало жаль прощаться с ней вот так, молча и скупно, и я обняла её и стала гладить по седым волосам.

Я просила её остаться в доме, но она, тяжело шаркая ногами, вышла за ворота и протянула мне ещё две шоколадные конфеты.

— Ты приезжай к нам, — сказала она. — И зимой приезжай. У тебя же есть каникулы?

Я не смогла сказать, что не приеду.

Баба Зоя закрыла за мной калитку и, наверное, долго ещё смотрела вслед: когда ближе к середине улицы я оглянулась назад, она ещё стояла возле дома, у старой калины, неподвижной тёмно-голубой тенью.

## Лето четвёртое

.....

### Умолкла песня

В середине сентября мама справила мой день рождения: пригласила мою бывшую одноклассницу и её мать, которая была председателем ТСЖ в нашем доме, свою приятельницу Тамару, мою школьную подружку Олю. Мама предложила позвать и тётю Любу, но я отказалась, сославшись на то, что у той, наверное, много дел, заказы. Гости поздравляли меня с совершеннолетием, я старалась быть вежливой и сидеть не со слишком кислой физиономией, а сама целый день тщетно прождала, что позвонит тётя Люба. Скорее всего, она просто ошиблась с датой — подобное с ней временами случалось, но боль моя от этого не проходила. В глубине души я очень скучала по тёте Любе, но запретила себе отдавать в этом отчёт.

Я в очередной раз решила заняться устройством своей личной жизни и написала объявление всё в ту же газету «Комок». Теперь мне было уже восемнадцать лет, и я могла не только отвечать кому-то, но и написать сама, кого хочу найти. Подумав хорошенько, я решила, что не стоило бы всё-таки уезжать далеко от города, ведь мама живёт здесь, ей со временем может понадобится помощь. Да и неизвестно, что сделают со школой в Мальцеве: не зря же тётя Зина, да и Ушаковы говорили, что её собираются закрыть, как закрыли несколько лет назад больницу.

Итак, я написала: «Познакомлюсь с молодым человеком, живущим в Берёзовке». Поразмыслив, добавила: «Люблю природу». Вместо адреса я на сей раз благоразумно указала номер паспорта.

Ждать ответа долго не пришлось: уже дней через восемь на мой документ пришло письмо. Я с нетерпением порвала конверт, развернула бумагу и жадно стала читать — но чем дальше, тем больше меня охватывали удивление и отвращение.

Какой-то заскучавший в долгом браке тип писал мне, что он «женат, но одинок». «Хотя я не тот, кого вы искали, но смогу подарить вам яркость встреч, радость любви...»

Учиться мне по-прежнему очень нравилось. Читать художественную литературу было одно удовольствие. Я записалась на курс «Топонимика» и с интересом для себя узнавала, почему так, а не иначе называются города, горы, реки, озёра нашего края и страны.

Тётя Люба однажды поймала меня на улице, уже в октябре, когда шёл первый снег, покрывая тонким слоем, как зубным порошком, облетевшую листву ив и клёнов возле нашего дома.

— Здравствуй, моя девочка! — позвала она меня.

Я нехотя поздоровалась.

— Где же ты? Что не заходишь? Я помню, у тебя день рождения скоро: девятнадцатого октября.

— Сентября вообще-то, — горько усмехнулась я.

— Господи! Да ты что?! Что же, выходит, у тебя день рождения прошёл, а я не поздравила? Прости меня! А что же девятнадцатого-то октября? Ведь тоже что-то есть...

— Царскосельский лицей открыли. В котором Пушкин учился.

— Ёлки-палки... Ну, скоро будем Пушкина поздравлять... А ты куда идёшь? Заходи ко мне!

Я не смогла пересилить саму себя и сломалась — согласилась зайти.

Тётя Люба стала угощать меня пшённой кашей с тыквой, показывать своё новое рукоделие — какую-то бижутерию из шнурков и бус, которую она уже продала нескольким своим знакомым.

— Тебе задаром сделаю! Ты какого цвета хочешь?

Я смотрела на неё, понимая, что больше не смогу от неё бегать — всё равно приду ещё раз и ещё, и злилась на себя за это.

Тётя Люба же, наверное, ни о чём не догадывалась и пустилась в воспоминания:

— Как это меня угораздило месяц перепутать?

Голова садовая... Старость, что ли, подкрадывается?... Сейчас, похоже, рано зима придёт, а тогда, в тот год, как ты родилась, — така-ая тёплая осень стояла! Солнце золотое... Я мать твою встречала из роддома. Она же в реанимации лежала неделю, отходила. Никого к ней не пускали. Потом в обычную палату перевели, я ей сухарики, яблоки передавала, Тамара тоже... Потом выписали её.

Приехала домой. Первое время, конечно, тяжело, а всё-таки, как ты улыбаться стала, я ей и говорю: «Ну что, Маша, а вот представь, что не было бы Настьки!» Ведь легко могло-то и не быть!

— Почему легко могло не быть? — не поняла я.

— Ну как почему?... Отец твой, Мишка, — он же пил. Она один раз уже от него аборт сделала, а тут второй раз забеременела. Рубашки с запонками ему купила. А он возьми да запей опять. Уж чихвостила она его на чём свет стоит! Даже скалкой била. А он что? Когда пьяный, он не соображал. Пошла Маша, рубашки сдала обратно в магазин и на аборт записалась. А потом приходит ко мне и говорит: «Люба, как считаешь, оставить ребёнка или нет? Наверное, не буду». Я как матом пошла на неё: «Ты что, баба, офонарела?! Ты девчонка, что ли, семнадцатилетняя, что залетела и матери боишься? Один раз уже аборт от Мишки делала — и всё равно не ушла. Бесконечно, что ли, это будет? Тебе тридцать семь лет уже, хрен его знает,

забеременеешь ещё или нет». Так и сказала ей: «Не родишь — не подруга ты мне больше, здороваться не стану, плюну и разотру!» Ладно, говорит, оставлю, хотя не знаю, мол, что там за ребёнок получится от алкоголика-то...

Я ошарашенно смотрела на тётю Любу, впервые услышав такие подробности своего появления на свет.

— А я ей говорю: «Слушай, мать, люди как только не рожают. Это же твой ребёнок, родной! Ну что он, без глаза родится или с кривыми ногами? Да если и так, выхаживать будем». Ну а потом-то она мне рассказывала: от наркоза отходит после кесарева, анестезиолог ей и говорит: «Девка у тебя родилась, да такая губастая!» Она, бедолага, и перепугалась: подумала, что с заячьей губой. Эх, медики! А когда встретили вас из роддома, я вижу: красавица девка! И не ошиблась ведь: чем дальше, тем краше! — гордо закончила тётя Люба.

Я кинулась ей на шею и расплакалась, уже не в силах держать в себе обиду на ту, по чьему слову, оказывается, мне даровалась жизнь. Я рыдала, а из сердца моего уходили злоба, тоска, упрямое желание судить и осуждать. Самым важным стало то, что она, подруга моей мамы, рядом, от неё исходит привычный запах туалетной воды и ароматизированного табака, и она здесь и обнимает меня... Сколько же в ней тепла! Сколько всегда было тепла!

— Ты чего это? — удивилась тётя Люба.

— Ничего... — прошептала я сквозь слёзы. — Просто я соскучилась по вас.

Через месяц в город приехал лечиться дядя Витя. У него не переставало болеть горло, и никакие таблетки и спреи от ангины не помогали, да ещё и стало неприятно жечь в груди. Из краевой больницы его отправили на обследование в онкологический диспансер, и там местные врачи поставили страшный диагноз: рак пищевода.

Всё это тогда передала мне тётя Люба. Её брат лежал в больнице, врачи изучали опухоль, брали анализы. Я попросила разрешения поехать к нему повидаться, но тётя Люба отговорила меня от этой затеи:

— Настя, он сейчас, кроме Вали, никого не хочет видеть. Ему же пятьдесят пять лет только... А тут неизвестно, сколько он проживёт. Если и жить будет, то как? На больничной койке...

Она не плакала, но в её серо-зелёных глазах застыло выражение скорби и нежелание верить во внезапный недуг своего брата.

Рак у дяди Вити оказался на поздней стадии — первые признаки болезни он не заметил или не посчитал за что-то значимое. Теперь же ему оставалось жить не больше чем год. Ему предлагали остаться лежать в онкологии, но он сказал врачам, что раз всё равно помирать, то лучше уж дома.

Тётя Люба, ища утешения, рассказала об этом моей маме. Та стала успокаивать по-своему, говоря, что мужики часто умирают рано, взять хотя бы её собственного брата, который в тридцать лет разбился на машине, или мужа одной её знакомой, у которого точно так же обнаружили рак и он скончался в пятьдесят с небольшим. Умер, в конце концов, и её отец, мой дед, когда понял, что ослеп и стал беспомощен,— правда, уже в семьдесят с лишним лет, но всё-таки умер! Все умирают.

Но этих людей я не знала, и упоминания о них были для меня всё равно что разговоры о привидениях. А дядю Витю я видела, слышала его смех, ездила с ним на лодке, рассекающей синюю гладь речной воды, и мне казалось, что нет в мире человека, который бы так любил жизнь, как он.

Мама и раньше уже была недовольна, что я слишком часто хожу к тётке Любе и слишком много знаю о том, что происходит в Мальцеве, а теперь стала проявлять своё раздражение открыто. Однажды она подслушала мой телефонный разговор с Леной и стала высмеивать меня:

— Ленка у тебя, видишь, подруга самая лучшая! Поезжай тогда к ней! Зачем в институт поступала? Иди коров доить, по твоему разуму самое то. Люди к чему-то стремятся: выучиться, на работу хорошую устроиться, кем-то стать,— а она стремится в говно себя зарыть.

Я чувствовала стыд, как человек, которого застали раздетым и стали показывать на него пальцем. Потом этот стыд перешёл в затаённую глухую злость на мать и желание уехать от неё поскорее.

— До чего же ты глупая, наивная,— ни с того ни с сего говорила мама, глядя на меня, сидящую за столом. И добавляла:— В кого ты такая? Не от мира сего...

«Да уж не в тебя»,— раздражённо думала я.

Я была горда собой, осознавая, что на самом деле превзошла свою мать: учусь отлично, и не в каком-нибудь там колледже, как она в своё время, а в университете, да ещё нахожу время заниматься спортом.

Однако мамины слова о том, что я не умею общаться со сверстниками, задевали меня. На несколько дней новогодних каникул я, как пообещала бабе Зое, съездила в Мальцево, где Ленка с Сашкой покатали меня на тройке лошадей с бубенцами, а после праздников записалась в самодеятельный театр нашего университета. Я исполнила со сцены белорусское стихотворение, прочитала отрывок из «Кыси» Татьяны Толстой, и меня пусть без особого восторга, но взяли. Режиссёр был не молодой и не старый человек с поношенным лицом, на котором хорошо виднелись следы алкогольных возлияний. Играл он чудно: без всяких слов мог изобразить потерянность, удивление, досаду, радость встречи. Нам он без усталости напоминал:

— Сыпать словами актёру не надо! Слово должно родиться!

В минуты нерасположения он хмуро поносил власти— и российские, и нынешние университетские, которые только для экономии денег (в этом режиссёр был уверен) слили четыре вуза в один; жаловался на то, что нынешние деятели искусства всё опошляют. В весёлые минуты режиссёр сам не чуждался скабрёзных шуток и говорил, что, какие бы ни пришли власти, искусство будет жить вечно.

В апреле дяде Вите стало хуже, и его привезли обратно в город. Он уже мог есть только жидкую пищу, да и то с трудом, и вдобавок мучился кашлем. Врачи говорили, что опухоль проросла в нервные стволы, а это значило, что можно было только облегчить человеку последние месяцы жизни.

Я снова попросилась у тётки Любы съездить вместе с ней в больницу, чтобы повидать дядю Витю, и на этот раз она почти без колебаний согласилась.

Лицо у него потемнело и осунулось, нос и скулы заострились. Из рта тянуло слабым гнилостным запахом. Оттого, что его тело теперь с великим трудом принимало пищу, он сильно похудел и казался стариком, несмотря на яркие рыжеваторусые, лишь слегка тронутые сединой волосы.

Увидев меня, он улыбнулся сизыми губами, взял мою руку в свою и сильным шёпотом сказал:— Ну, привет.

Мне тоже как будто стало больно говорить, и я только кивнула ему, чувствуя, как наливаются слезами глаза.

Тётя Люба что-то рассказывала ему из их детства, вспоминала, как маленькими были Семён и Гриня, приезжали гостить к ней в город. Не знаю, слушал ли всё это дядя Витя или просто наслаждался звуком её голоса— мне казалось, что даже слушать ему было больно. Однако он пытался улыбаться и неотрывно смотрел на нас. Когда мы уже собрались уходить, он сказал:

— Простите меня.

Он умер в разгар мая, когда уже отцветали пушистые жёлтые и фиолетовые колокольчики сон-травы, заголубели нежные звёздочки незабудок, когда набрали бутоны и готовились затопить весь мир благоуханием красавицы-черёмухи.

Дядю Витю похоронили в городе, не стали везти в Мальцево, на дальнее кладбище, да там как будто уже и не было места рядом с отцом и его братом. Тётя Валя плакала, утираясь белым платком, её обнимал за плечи старший сын Семён. Младший сын, Гриня (его я тогда увидела впервые), с такой же пышной, как у отца, кудрявой шевелюрой, стоял поодаль и смотрел на всё происходящее как-то сквозь, будто не видя его. Тётя Люба успокаивала дрожащую бабу Зою, накинула на неё для тепла свою куртку, и та в несоразмерной одежде с чужого плеча была похожа на нищенку.

Поминки устроили в городской столовой. Ели блины, кутью, тушённую с капустой, пили водку и кисель. Это были первые похороны в моей жизни. Правда, когда мне ещё не исполнилось шести лет, хоронили мою бабушку, но тогда я ещё не понимала, что это — навсегда, и сохранила в памяти только причитания старух и то, с каким трудом долбили лопатами мёрзлую землю.

Когда я в день похорон легла спать, мне показалось, что меня окружала со всех сторон немая тишина, непроницаемая, как могила. Я задавала себе вопрос: как может быть, что человек есть, а потом его нет? Это противоречило природе, всему укладу мира. В природе после тягостной осени приходила неминуемая зима, а потом наступал апрель, и всё рождалось заново. В книжке «Хатхайога», которая валялась у мамы в шкафу, вскользь говорилось о переселении душ, но мне не очень нравилась эта идея. Прострелы появлялись весной такими же махровыми цветами, а не грибами сморчками, и черёмуха расцветала черёмухой, а не сиренью. Всё весной оживало и возвращалось к своему изначальному, только обновлённому, облику. Но где и в чём была весна для людей?

Через несколько дней после похорон в город внезапно приехала Ленка. У неё случился выкидыш, после кровотечения началось воспаление, и ей пришлось ехать в городскую больницу, чтобы пройти чистку. После операции она осталась пожить сутки у тёти Любы, и в это время как раз прошло девять дней со дня дяди-Витиной смерти.

Грустные события снова собрали нас втроём, как уже почти два года назад под звёздным небом в Мальцеве, расположили к разговорам.

— Он ведь мой любимый братик был, девочки, — говорила тётя Люба. — Пойдём вот с ним, с Зиной — Колька-то уже старше был — на речку. Извозимся все в песке, изгваздаемся! Пойдём домой чумазые. Маманька как увидит нас — кричит: «Вы где были?!» А мы ей: «На речке». Она кричит опять: «Там вода-то есть?»

Тётя Люба пыталась улыбаться, глядела на нас тревожными плачущими глазами. Видно было, что смерть брата сильно надломилась её.

— Рустам-то приходил? — спросила Лена.

— Приходил, да что он мне скажет? Брат, говорит, не сын и не отец.

— Ну-ну... — неопределённым тоном, то ли соглашаясь, то ли осуждая, изрекла Ленка. — Что ему ещё сказать. Вот зачем он тебе, тётя Люба, нужен? — Не знаю. Привыкла я к нему. Плохо будет без него.

— А с ним хорошо, что ли? Всё равно у него семья своя. Побудет тут с тобой, потешится и свалит обратно туда. Как кот по весне, шарается тудым-судым. Разве положишься на такого?

— Он же татарин. У них принято, что две жены можно.

В ответ на это Ленка от души матерно выругалась.

— Дай-ка лучше выпить, тётка, — потребовала она.

Тётя Люба насторожилась.

— Выпить? Ты смотри...

— Давай, давай, — Ленка сама достала из холодильника початую бутылку водки и наполнила треть чайной кружки, потом столько же налила тёте Любе и немного плеснула мне. — Надо помянуть дядю Витю. Ну, земля ему пухом!

Она поднесла к губам кружку и вдруг поправилась:

— Или как там — царство Небесное?

— Это мне больше нравится, — сказала я.

— Царство Небесное дяде Вите, — подтвердила Ленка и опрокинула в себя водку.

Я внутренне сжалась от страха, что она сделала нечто непоправимое, и от всей души пожелала, чтобы эта кружка осталась единственной.

— Ты бы лучше, тётя Люба, бросала его к чёртовой матери, пока он тебя сам не бросил, — опять вспомнила Лена про Рустама. — Одинокие мужики ведь тоже есть, от хозяйки не откажутся.

— Они уже потасканные все в этих годах. Или на голову сумасшедшие... одинокие-то. А что с Рустамом тоже добра нет, то это ты верно говоришь. Маета одна. А бросить его не могу, сил на это не имею. Прикипела...

Я почувствовала в тот момент к тёте Любе жалость — не доброе сочувствие, а снисходительную жалость высшего к низшему. Какое, в самом деле, слабоволие — тянуться за человеком, который тебя постоянно ранит, и не собраться с духом, чтобы обрубить эту связь!

Тётя Люба собралась в магазин за продуктами, а мы с Леной остались ждать её в квартире.

— Жалко тётку, — заметила Ленка вслух. — Для чего она живёт?

Испугавшись созвучия собственным мыслям, я возразила:

— Как для чего? Для чего и все. Просто.

— Просто и кирпич на голову не свалится, — парировала Лена. — Детей у неё нет, мужа тоже нет. Был бы у неё ребёнок хоть один, как у матери твоей, — всё не впустую жизнь прожила.

Я возмутилась такими словами, приняв их за жуткую неблагодарность со стороны Ленки, которая лучше других знала, сколько тётя Люба ездила с роднёй на покосы, сколько помогала нянчиться с детьми.

— Ты что, она же для всех старалась! И на покосах, и в квартиру свою всех пускала переночевать. И с племянниками водилась, гуляла с ними.

— Так а что ей ещё делать? — равнодушно заметила Ленка. — Для кого жить?

— Как хочешь говори, а она хорошая, она очень хорошая! — убеждённо сказала я.

— А кто сказал, что плохая? Просто не повезло бабе в жизни.

Я подумала, что, наверное, Лена так же, как и я, как все мы, боится смерти и рождает детей для того, чтобы быть уверенной: пока есть на земле, в деревне Мальцево, люди, в которых течёт её кровь, она тоже будет жива. Но странная смерть завязавшегося в её чреве нового младенца, погибшего как саженец дерева в вихре пожара, словно говорила о том, что и дети — ненадёжное основание для того, чтобы считать себя навеки живым.

## Гриша

Поставив себе цель стать педагогом, я в год своего восемнадцатилетия решительно следовала совету Николая Заболоцкого: хватала свою душу за плечи, учила и мучила дотемна. Я приучила себя дважды в неделю ходить пешком от института до дома, усердно учила английский язык и не очень радовалась «автоматам», потому что, если готовиться по билетам, можно было лучше запомнить весь материал. Исключением стал только очень скучный в моих глазах предмет «Библиотечное дело», изученное по которому я забыла на второй день после зачёта. Остальное я старалась запомнить и, хотя уставала от подготовки, в глубине души считала, что мне это только на пользу.

Особенная любовь во мне почему-то родилась к старославянскому языку. Мои однокурсницы сочиняли про него шутливо-жалостливые стихотворения:

Сижу на ленте я,  
Вверх голову задрав.  
На улице тепло,  
А тут он — старослав.  
Сижу, твержу азы,  
Никак я не пойму:  
Зачем он нужен мне,  
Не нужный никому?..

Умом я тоже понимала, что «старослав» в нынешнем цифровом мире и впрямь, кажется, нигде не нужен, но почему-то все эти «толцыте и отверзется», «аще око твое будет просто» и распевное носовое «во время оно» манили меня к себе. Я читала этимологические словари Фасмера и Черныха как увлекательный роман, открывая в них тайны слов. Вот «дочь» — слово, когда-то связанное с «доить». Значит, дочь — это вскормленная твоим молоком. Вот «змея» — ползающая по земле, питающаяся прахом земным. Когда-то её звали иначе, но первое имя не сохранилось в толще веков. А вот «черёмуха». Все знают, что черёмуха белая, все видят и помнят её в радостных белых одеждах, нарядную, как невесту. Но если посмотреть глубже, разрезать её ветви с живительным древесным соком, окажется, что она — красная, ведь «чермь» — это червлёный, багряный.

Я читала и училась, но не знала даже примерно, куда мне ехать после окончания учёбы. О том, как закрываются сельские школы, говорили даже по телевизору. Но если даже школу в Мальцево или другой деревне оставят, то как я там буду жить? С кем?

Я уже с внутренней грустью понимала, что такой муж, как Вася, Коля или даже Сашка, мне навряд ли подойдёт. Все думы тёти-Любиных племянников и людей вроде них сводились, похоже, к дому, огороду, сельскому труду, нужному для того, чтобы иметь кусок хлеба. Зачем они женились? Наверное, потому что так надо.

Жить в одиночку в сельском доме, как я понимала, мне будет тяжело — и в плане бытовом (после рабочего дня каждый вечер топить печку, самой покупать и колоть дрова), и ещё больше — в психологическом. Деревенские непременно примутся меня жалеть, если я останусь в девушках, — жалеть именно в плохом смысле, а значит, вряд ли станут уважать. Если же я в угоду людскому мнению всё-таки выйду замуж за местного, то буду несчастлива. А чему может научить детей несчастливый человек?

Из цепочки своих размышлений о браке я вывела одно: муж и жена должны быть друзьями. Но вокруг чего дружить? Вокруг чего сплачивать свои жизни? Этого я ещё не знала.

Однажды по телевизору показывали сюжет о двух врачах, супругах, работающих на скорой помощи. Они говорили, как счастливы вместе ездить на вызовы, быть соратниками в деле спасения людей. Этот сюжет так потряс меня, что я долго носила его в сердце, он даже пару раз снился мне ночью. Я завидовала этим людям как самым большим счастливым.

Счастливыми мне казались ещё барды Никитины, которые вместе сочиняли и пели песни, и супруги Кюри, открывшие радий и полоний. И даже Перси и Мэри Шелли, на долю которых выпало совсем мало спокойных, умиротворённых дней, зато у них было сырое и холодное лето, когда они жили в замке Байрона, беседовали с ним и творили вместе. За одно это лето, как я считала в глубине души, можно было отдать полжизни.

Не помню как, но я увлеклась историей РСДРП, стала читать про Гражданскую войну и завидовать людям, которые жили в десятые и двадцатые годы прошлого века: у них была идея, была жизнь, а не тяготное существование. Мне казалось, что я бы в Гражданскую войну помогала красным партизанам, а то и сама примкнула к ним, а после победы советской власти записалась бы в работники ликбеза.

Все эти мысли я не обсуждала ни с кем, даже с тётёй Любой. Хотя я посчитала, что вполне простила её, — да, по совести говоря, и было ли за что прощать?! — всё же несколько изменила

отношение к ней. В своём высокомерии я стала думать, что она не сможет посмотреть на жизнь так широко, как я.

Моя подружка Оля ещё в начале зимы связалась с каким-то сомнительным парнем, который, дабы покорить её сердце, упрямо зазывал к себе в гости и подкарауливал у подъезда на машине. Этот тип был совладельцем полулегальной булочной и вообще оказался замешанным в разных тёмных делах. Ольга вначале остерегалась и говорила мне, что Игорь «страшный человек», потом уступила натиску черноглазого красавца и стала ездить с ним по саунам, клубам, бильярдным и прочим злачным местам, всё больше очаровываясь прелестями лёгкой жизни.

— Ах, Настька, ты не знаешь, как мы классно зависли!— говорила она мне, блаженно прикрыв глаза и описывая недавнюю ночь в клубе.

Я точно знала одно— что она поступает глупо, но насмешливый голос внутри меня шептал, что и мне придётся окунуться в какие-то тёмные воды, в которые попали Ольга и, наверное, тётя Люба, а может, и вообще попадают все женщины в мире, сколько их ни на есть.

Я приехала в Мальцево в первых числах июля, почти в то же самое время, как в прошлом году. Анютке было уже четыре, она часто гостила у бабы Зои, которая особенно выделяла её за похожесть на любимого внука Сашу. Девчонка переняла бабушкины повадки, стала охать и ворчать:

— Вы картошку-то зачем на старое место посадили? Вы чё думаете головой-то своей? А где горох? Где горох, язви вашу душу?

Анюта качала головой и всплёскивала маленькими ручками.

Марине было три, и она оставалась тише и задумчивей, чем сестра, только ещё сильнее пристрастилась к «кабаске», а заодно и к паштетам из жестяных банок. Темноволосый большеголовый Илюха ползал по деревянным доскам, по полу, по дощатому тротуару, а то и прямо по траве, пробуя мир на ощупь, на запах и вкус.

Весной на день рождения Анютке подарили чудесную книгу русских народных сказок, адаптированную и с яркими картинками. Я читала эту книгу девчонкам по вечерам, давала им погладить мелованные страницы. Мы вместе укладывали спать кукол, а Анютка ещё обязательно доила корову. Коровой у неё служил стул с привязанной к сиденью короткой верёвкой. Анюта сосредоточенно дёргала за верёвку, подставляла под стул ведёрко для песка, и, «надоив» полное, с чувством выполненного долга собиралась спать. Маринка и Илюха подчинялись в играх старшей сестре и часто были как бы за её «ибягишек».

— Золушкой будет девка,— предрекала ей тётя Люба.

— Нет, это комсомольская активистка,— спорила я.

Тётя Люба за этот год похудела лицом, её серо-зелёные глаза казались больше, в них поселилась какая-то горечь. Шутила она реже, зато глубже, притом часто с серьёзным выражением лица.

Дня через три-четыре после приезда мы пришли в дом тётя Вали. Там в то время жили, как нам уже было известно, старший дяди-Витин сын Семён со своей молодой женой и маленьким ребёнком и младший сын Гриня.

Мы ещё только зашли во двор, как я увидела Гришу— крепкого парня лет двадцати пяти, непохожего внешне на высокого узколицего брата. Он сидел на крыльце, одетый в джинсовый комбинезон на голое тело, и крутил в пальцах зажигалку. — Привет, тётка,— бросил он приветствие родственнице.

И тут, кажется, заметил мою персону. Я была одета в светлые бриджи и бело-голубую футболку поло, но он посмотрел на меня так пристально, что я заволновалась и подумала: может, что-то не так с моей одеждой?

— И откуда же к нам такая красавица?— осведомился Гриня.

— Из института, из города,— деловито ответила тётя Люба вместо меня.

— А я и в городе жил, и там вас не видел. Студентка, комсомолка, спортсменка и просто красавица?— играя бровью, спросил он.

Я промолчала, и тогда Гриня продолжил: — Надолго ли вы хотя бы посетили наши края? Надеюсь, что надолго.

— На месяц, наверное.

Гриша перестал говорить мне «вы» и обращаться дурацким высокопарным тоном.

— Садись, поболтаем. Семечек хочешь?

Я оглянулась на тётю Любу— она как раз входила внутрь вместе с хозяйкой дома. Первым моим движением было рвануться за ними, но показалось невежливо и по-детски вот так убежать.

Гриша перебрался со ступенек крыльца на скамейку, я села рядом.

— Ты чем по жизни занимаешься?— непринуждённо спросил он.

Я обескураженно ответила:

— Так тётя Люба же сказала, что учусь... Закончила второй курс.

— Ну да, ну да... А что учишь?

— Русский язык и литературу.

— А много у вас парней в группе?

— Четверо.

— У-у. Мало. Приходится в других местах искать, да?

— Да,— пожала я плечами.

Он расспрашивал меня об учёбе, о моей жизни в городе, и я, отвечая, чувствовала себя глупо: было видно, что всё это ему малоинтересно. Однако почему-то Гриша продолжал спрашивать— и таким тоном, будто я была его старой знакомой,

например, одноклассницей, и вот приехала после нескольких лет отсутствия.

Он не говорил ничего пошлого, просто веселился и пытался сыграть шутками, как его отец, но мне почему-то было не по себе. Я разрывалась между желанием сейчас же встать и уйти и возникшей тягой к этому человеку.

— Ты почему к нам раньше не приходила? — самым участливым тоном спросил Гриня.

— Я приходила...

— Приходи завтра, — он взял меня за руку выше локтя. — Сейчас тётки там поболтают, вы уже уйдёте. А завтра к вечеру приходи. Или нет, — внезапно передумал он. — Я лучше сам за тобой заеду. Покатаемся!

Вечером после бани я заплела влажные волосы в косички, чтобы они стали волнистыми. Проснулась я уже с мыслью: «Сегодня приедет Гриша», — и сама удивилась тому, что, оказывается, со вчерашнего вечера не выпускала его из головы.

Днём я решила испечь бисквит со смородиновым вареньем. Он удался на славу — высокий, с золотистой корочкой. Я предвкушала, как угощу этим пирогом Грину.

Он приехал вечером вместе с матерью. Тётя Валя, сразу угадав, что её сын понравился мне, стала смотреть на меня влюблённым взглядом. Когда все сели пить чай, я с гордым видом поставила на стол свой пирог.

— И печь-то она умеет! Славная девочка! — воскликнула тётя Валя.

Гриша довольно ухмылялся, смотря на меня уже так, словно я была в его распоряжении. Я же чувствовала, как он скользит по мне взглядом, и продолжала сидеть как прикованная на своём стуле. Наконец Гриня поднялся, с чувством потянувшись и нарочито лениво произнёс:

— Да, кстати. У меня для тебя кое-что есть.

Он снял с вешалки куртку и небрежно извлёк из кармана какой-то браслетик из жёлто-оранжевых, похожих на янтарь, камушков. Протянул его мне.

Я опешила от удивления и промямлила невнятное «спасибо». Было даже неясно, радоваться или нет. Приятно получать подарки — но от человека, с которым познакомилась только вчера?

Видя мою растерянность, тётя Валя ободряюще сказала:

— Ну, поцелуй его!

Она, конечно, имела в виду, что надо поблагодарить за подарок невинным поцелуем в щёчку. Но я, захмелевшая от обилия противоречивых впечатлений, кинулась к Грише, как птица на силки, и впилась губами в его губы.

— Ого, — только и сказал он, мягко и не полностью отстраняя меня от себя. — Как свежий деревенский воздух действует на девушек! Ну что, поедem покатаемся? Виды посмотрим?

Я хотела ещё пойти причесаться получше и надеть кофту без выреза. Но меня так переполняли чувства стыда и волнения, что хотелось как можно скорей сбегать из дома. В глубине души мне казалось, что я делаю что-то не совсем хорошее, и не хотелось, чтобы это видела тётя Люба, хотя та ничем не выражала какого-то несогласия.

— Покажу тебе наши места, — всё тем же неприжудённым тоном говорил Гриня, уже сидя в машине. — Тут у нас красиво.

— Я на кармановском покосе была и на ушаковском, — подхватила я тему.

— Это, получается, на запад. А мы с тобой чуток на север проедem. В сторону, где старое Мальцево.

— Меня тётя Люба обещала свозить туда, но так и не успела.

— Ну вот, а мы с тобой прокатимся. Тебе понравится, — ободряюще сказал Гриня и как бы невзначай положил свою руку на мою ногу.

У него выходило всё как-то до ужаса просто, и это неожиданно начало нравиться мне. По дороге Гриня рассказывал мне разные байки про своих знакомых, ничего при этом не говоря о себе. Он был и похож, и не похож на своего покойного отца: постоянно балагурил, только получалось у него не так смешно, как у дяди Вити, а порой и совсем несуразно. Чертами лица он отчасти напоминал мать, но рыжеватые волосы и серо-зелёные глаза у него были отцовские.

Мы проехали мимо старого кладбища с проржавевшими кое-где металлическими перегородками, мимо берёзовой рощицы и оказались на малонаселённой улице из десятка или дюжины домиков. — Это и есть старое Мальцево? — разочарованно спросила я.

— Оно самое, — отозвался Гриня таким довольным тоном, будто сам построил эти домики. — Там в сторонке ещё одна улица есть, с магазином. Ну, поедem дальше?

Отъехали мы недалеко — на поле, напомнившее мне городские пустыри с высокой травой где-нибудь в Ветлужанке. Гриня остановил машину, придвинулся ближе ко мне, и мы стали целоваться. Место было пустынное, хотя и совсем недалеко от деревни, но я не могла отделаться от чувства, что кто-то меня видит. Нацеловавшись, мы повернули назад, прокатились ещё немного по деревне и остановились напротив бабушкиного дома. Высадив меня, Гриша поехал домой.

Увидев бабу Зою, с сердито-спокойным лицом раскладывавшую по столу карты, я почему-то подумала, что это именно она и наблюдала за нами там, на пустыре. Вот же она, сидит тут на веранде и делает расклад. Давно живёт и знает всё обо всех.

Вечером в бане я расчёсывала свои длинные, ниже пояса, волосы, оглядывала себя в мутном, вытертом по углам зеркале. Как я могла столько времени не замечать собственной красоты? И тётя

Люба, и Ленка часто говорили мне «красавица», но я воспринимала это просто как приветствие или пожелание добра.

Начав мыться, я в каком-то помрачении вместо того, чтобы тереть руки и ноги мочалкой, стала гладить своё тело, любуясь его изгибами. В уме у меня проносились картинки, как мы с Гришей сидим в машине и целуемся, как летим по трассе на огромной скорости, как я кормлю его пирогом прямо из рук. Я видела, как мы живём вместе в одной квартире, спим в одной кровати, едим за одним столом.

Я пыталась убедить себя, что полюбила его, нашла в нём родственную душу и потому-то так скоро отдаюсь подобным мечтам. Но кто-то ироничный и болезненно правдивый внутри меня с усмешкой указал на очевидный факт: какая родственная душа, если мы знакомы меньше двух дней? Так оно и было: я совсем не знала Гришу, более того — чувствовала в нём что-то неискреннее и почти физически неприятное. Я вспомнила подругу Олю: она ведь тоже раньше говорила, что Игорь — подозрительный тип, а потом её понесло куда-то, куда теперь несёт и меня.

Гриня ничего мне не пообещал, но я была уверена, что, когда мы вернёмся в город, он станет ездить за мной каждый вечер, и уже видела в мечтах, как мы вдвоём празднуем Новый год на какой-нибудь базе отдыха.

Я сказала тётке Любе:

— Мне нравится Гриня.

Тётка не придала этому значения:

— Он симпатичный.

Она не понимала, что если уж я решилась высказать, что чувствую, вслух, значит, меня распирает не на шутку.

— Как вы думаете, мог бы он стать моим мужем? — максимально конкретно уточнила я.

Тётя Люба нахмурила брови так, как будто решала математическую задачу.

— Ну... Муж из него так себе. У него ветер в голове, — изрекла она равнодушно, так и не поняв, похоже, что я не занимаюсь теоретическими построениями, а жажду разрешить важнейший жизненный вопрос.

Я глубоко вздохнула.

— Тебе лучше бы Вася подошёл, — брякнула вдруг она.

Я чуть не задохнулась от удивления и возмущения.

— Вася?! Почему Вася? Он ведь женат... на Гальке.

Тётя Люба неопределённо махнула рукой:

— Чует моё сердце, это не так уж надолго. Вася — он простой, но надёжный. Дом в деревне у него есть, в городе однокомнатная квартира сдаётся. Работа есть, руки золотые. Он серьёзный...

Я отошла от неё, полная разочарования и огорчения. Вспомнила, как мы втроём ходили в «Сибирячку», и этот «серьёзный» клеил меня, подпоив

водкой. Ничего себе «надёжный» — на глазах у родной жены плясать с другой девкой!

Я надеялась, что Гриша придёт вечером, но он не пришёл. Я решила, что его заставили быть дома какие-нибудь дела, и подумала, что спокойно подожду до завтра. Ближе к ночи мне стало плохо, отяжелела голова, и я ушла раньше спать. Но уснуть было нелегко. Я держала Гришину фотографию, снятую у бабушки с комода, у себя под подушкой, желая лежать на его широкой груди, покрытой золотистыми волосами, целовать его сладкие губы и слышать, как он, слегка картавя, говорит мне нежные слова.

Среди ночи я опять проснулась, чувствуя, что горю как в печке. Стоило мне выдохнуть на свою руку, как я ощутила сухой жар. Горло саднило ещё с вечера, а теперь стало сильно болеть. Я поняла, что занедужила всерьёз, но, хотя расстроилась, решила, что ничего особенного всё же не случилось — полежу два дня и оправлюсь.

Но утром мои губы вспухли, их начало жечь как огнём. За несколько часов все их покрыло волдырями. Герпес появился не только на губах, но даже на подбородке и под носом. Жечь болячки позже перестало, но они сильно зудели, так что было даже непросто есть и пить. Вечером я взглянула на себя в зеркало и от жалости к себе чуть не заплакала: половина моего лица была обезображена проклятым герпесом. Он и раньше, конечно, высыпал у меня, но никогда, никогда так сильно не уродовал!

У меня ещё держалась температура. Тётя Люба достала из аптечки парацетамол, какие-то таблетки от горла, заварила сушёную малину.

— Ложись, отдыхай, — велела она мне. — Сегодня и завтра лежи, ничего не случится.

Мне и хотелось, и не хотелось, чтобы Гриня приезжал. Он появился на следующий день к обеду, как будто по какому-то делу. Когда я вышла в кухню, он, по-моему, даже не сразу узнал меня, а узнав, окинул брезгливым взглядом:

— Что это с тобой?

— Заболела. Герпес...

Он смотрел на меня презрительно, будто на мокрицу, и я поняла, что больше ждать его не стоит. Гриша, наверное, решил, что я какая-то заразная. Да, впрочем, так оно и было...

Несколько часов мне было тяжело, а потом я почувствовала странное облегчение. Меня больше не раздирали желания. Да, желания — во множественном числе. Ведь последние несколько месяцев я мучилась оттого, что жаждала чего-то несбыточного: вернуться в прошлое, жить так, «чтоб был безумьем каждый день». И вот, наконец, этот как снег на голову свалившийся Гриша.

Наша недавняя поездка на машине стала казаться мне неприятным и тусклым сном. Но я очень ясно чувствовала какую-то связь между своими

безудержными мечтами о героическом прошлом, этой поездкой и нынешней болезнью.

«Раньше я была проще, — рассуждала я сама с собой. — Я просто жила, здесь и сейчас. А потом я стала хотеть чего-то, чего нет. Я стала думать, что лучше других».

Последняя мысль вспыхнула у меня в уме с яркостью молнии. Да, да, я стала думать, что лучше других. Моих однокурсников, Оли, мамы, Ленки, тётки Любы. Раньше я просто их любила, а потом перестала любить. Я стала думать, что есть я, такая умная, просвещённая, — и есть они. Но если даже я и умная, то зачем это? Разве не для них же?

«Значит, по-настоящему есть только мы», — заключила я.

Гришина мать пришла меня проведать, принесла парочку апельсинов.

— Ой, выздоравливай скорее! — покачала она головой.

— Гринька-то надолго здесь? — поинтересовалась тётка Люба.

— Нет. Завтра утром уезжает. На работу призвали. — А что за работа-то у него?

— Да не спрашивай... Проституток по клиентам развозит. Вроде и в армии был, а всё дурь какая-то у него в голове. Ну, приехал вот, хорошо, помог мне по хозяйству. Без отца тяжело, а Семёну сложнее вырваться...

Я пробыла в Мальцеве до конца августа. Тётка Люба уехала в двадцатых числах — поступил хороший заказ на шитьё. Мы с бабушкой остались в доме вдвоём. Даже девчонок ко мне не приводили познакомиться, зная, что я болею.

Похолодало: на улице чуть не до обеда стоял туман, лениво расплывавшийся клочьями по углам сада, по улице вниз, к реке. Однажды ночью температура опускалась ниже нуля, и баба Зоя встревоженно воскликнула, посмотрев ранним утром на термометр:

— Перцы-то мои, перцы!

С перцами, как и с помидорами, оказалось всё в порядке. Мы укрыли их под плёнку. Но стало настолько зябко в доме, что пришлось утром и вечером подтапливать печь. Я сидела в кресле или потихоньку наводила порядок в комнате, слушая рассказы бабушки о прошлой её жизни. Оказалось, что выросла она в зажиточной семье, отца её раскулачили, и всех их отправили работать на шахту в Забайкалье.

— Мне ещё пятнадцать было. Я в этой шахте ногу вывихнула, бедро, с тех пор и хромаю. Мать ещё мне говорила: ой, замуж не возьмут. Ничё, вышла, только что поздно, в двадцать пять лет. После войны несколько лет прошло, Иван и посватался. Стали жить, он вот этот дом строил, мужики помогали; а я уж первого ребёнка ждала. Я тогда думаю: рожу мальчика. И родила мальчика. Потом

думаю: рожу девочку. И родила девочку — Любу-то. Потом опять мальчика. И опять девочку.

Я совершенно верила в то, что, как баба Зоя сказала, так и выходило: подумала — и родила.

Бабушка дальше тянула нить своей жизни: — Они мне внуков принесли, шесть внуков и одну внучку. Внуки — правнуков, вот уж тоже пять... нет, шесть! Всегда полный дом у нас с Иваном был. Сперва дети, потом внуки, и все здесь вырастали, в деревне нашей. А правнуки-то уедут! Не будут уже здесь! — сказала она вдруг резко. — Уедут в город. И ты уедешь! Один ветер мне тут осенью останется: ставнями скрипеть будет, смерть мою кликать, — повернувшись и посмотрев мне в глаза, горько добавила она.

Мне хотелось утешить старуху, но я прекрасно понимала, что действительно уеду и навряд ли вернусь в Мальцево жить.

## Крестница

К сентябрю струпья на моём лице сошли, от них остались только розовые пятна. Эти пятна были довольно заметны, но всё-таки не очень меня портили.

— Ты на ветру целовалась! Не целуйся на ветру! — шуточно грозя мне пальцем, наказала однокурсница.

Я удивилась тому, насколько точно она попала в цель со своей шуткой.

Мне было радостно видеть всех однокурсников, преподавателей, сами стены университета.

На третьем курсе мы читали рассказ Владимира Зазубрина «Щепка». Его герой, пламенный революционер по фамилии Срубов, был влюблён в революцию и самоотверженно следовал её идеалам. Он, как председатель губернской чрезвычайной комиссии, руководил казнью, через его руки проходили сотни людей — молодых, старых, мужчин и женщин, и всех их расстреливали пятеро подчинённых Срубова. Он убеждал себя, что так надо, что он только счищает этих вредных людишек с её рубахи (о революции он думал как о женщине, вернее, как о женском божестве). Но сердце Срубова отказывалось верить в то, что убивать необходимо. В конце концов на казнь отправили уже самого героя, заподозрив по обвинению «друга» в контрреволюционной деятельности. Он шёл на смерть уже полусумасшедшим, не в силах примирить в себе желание служить Ей — и живое сострадание к людям.

Этот рассказ потряс меня и отрезвил. Я вспоминала свои недавние мечты о том, чтобы жить во времена Гражданской войны, и задавала себе один и тот же вопрос: могла бы я убить? Белого, конечно, врага... того, кто считался врагом. Убить физически или, что, в принципе, то же самое, отправить на смерть? Вот, например, сидит Марина. Отец у неё банкир. Она хорошая, добрая девушка,

но ей повезло (или не повезло, это зависит от времени) родиться в зажиточной семье. Смогла бы я её поставить к стенке и расстрелять? Если нет — нечего и говорить о том, что хорошо бы жить в то время. . .

Я нарочно ставила себе такие жестокие вопросы, чтобы окончательно развеять в своей голове идею насчёт возможности поделить людей на «правых» и «виноватых». В этом Срубове я угадала себя: такие люди, как мы, если найдут идею, которой смогут всецело себя посвятить, способны терпеть безденежье, холод, жить в конуре, сидеть на хлебе и воде. Такие люди сами по себе не добрые и не злые, только устремлённые, как локомотив, к своей, им ведомой цели. И если эта цель не человеколюбива, они сметут всё живое на своём пути.

Тётя Люба всю осень не приходила к нам, а если звонила я, сказывалась занятой. Уже в конце ноября она неожиданно позвала меня в гости, усадила за стол. Она была спокойней, чем обычно, настроена на долгий разговор. Расспросив меня для приличия о том о сём, тётка наконец приступила к важному:

— Знаешь, мне знакомая книжка дала почитать. Называется «Беседы с Богом». И ещё одну, «Дружба с Богом». Там автор говорит, что каждую ночь поднимался к столу, писал вопросы, а на листе сами собой появлялись ответы.

Я, наверное, скорчила скептическую рожу, потому что тётя Люба с укоризной сказала:

— Не веришь? А вот, Настька, чёрт его знает! Я хочу, чтоб ты прочтала.

Я принялась читать, и по ходу чтения в голове у меня всплывали слова Вольтера: «Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать». Было похоже, что автор этой книжки ещё не нашёл Бога, но, скучая по нему, пока что решил нарисовать что-то вроде фантазии на тему своих предчувствий.

Тётя Люба внимательно смотрела, как я листаю страницы, терпеливо ожидая от меня отклика.

— Ты в Бога веришь? — наконец спросила она напрямую.

— Не очень, — призналась я.

Тётя Люба с самым серьёзным видом спросила: — Почему?

Я принялась говорить банальные вещи о том, что в мире столько зла, что как же может быть Бог, если умирают дети, разбиваются самолёты и одни люди беззастенчиво наживаются на других. — Так-то оно так, — согласилась тётя Люба. — Но этому я не удивляюсь. В природе все друг друга едят. Я хорошему удивляюсь. Почему люди не только глотку друг другу перегрызают, но и руку помощи подадут? Почему вообще мы всё же не звери, а люди? Я, Настька, читала эту книгу и думала: есть в человеке какая-то функция, не описываемая материальным миром. Во мне, допустим,

эта функция не вычислена. Но есть люди, у кого вычислена.

Провожая меня в тот день, тётя Люба вручила мне почти с силой обе «божественные», как она говорила, книжки:

— Читай. Прочитаешь целиком — обсудим с тобой.

Книжки мне всё равно не очень понравились, зато задели слова тётки: «Откуда в мире добро?»

Тысячи умников так же при случае бросали обвинение божеству, как я, гордо вопрошая: «Почему в мире так много зла?» Но не логичней ли было бы подумать, что в такой громадной, как открыли учёные, холодной Вселенной, полной губительной радиации, всё-таки живёт человек? И не только живёт, но хочет жить вечно, пытаясь ради этого желания продолжить себя то в детях, как большинство, то в творчестве, как немногие другие.

Через две недели я пришла к тёте Любе с прочитанными книжками.

— Я креститься хочу, — заявила она мне с порога.

— Да? — только и спросила я.

— Да. Точно хочу. Я всю жизнь жила в подвешенном состоянии. То ждала, перестанет муж пить или нет. Не перестал. То потом Рустама ждала — уйдёт он от жены, не уйдёт. . . Не ушёл.

— Вернулся к ней? — поневоле ахнула я.

— Да не совсем. . . Другую приёмную жену нашёл, помоложе, — горько улыбнулась тётя Люба.

Я замялась, не зная, что говорить, когда вроде бы нужно выразить сочувствие, но на самом деле ощущаешь облегчение.

— Это очень хорошо, — избавила меня от мучения тётя Люба. — Это как операция. Он меня сам освободил. Я теперь хочу сама что-нибудь решить. Мне надоело жить непонятно. Я хочу быть кем-то.

Она крестилась в конце декабря. В церкви я не была, но зашла потом поздравить тётку Любу с этим событием. Она сидела дома вместе со своей закадычной подругой, маленькой брюнеткой с живыми чёрными глазами, и светилась радостью. — Какой праздник, Настя! Это лучше Нового года.

Я не очень понимала, чему она радуется, но видела, что ей хорошо и спокойно. Какое-то время мы трое молчали и даже не особенно смотрели друг на друга, но никакого неудобства от этого не чувствовали.

— Я у них там спросила про Витю, — проговорила тётя Люба, доверительно наклоняясь ко мне и своей подруге. — Я же на курсы ходила перед крещением. Там много говорили. . . Что воскресение будет. «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». И все увидятся. А я говорю батюшке-то: «Вот у меня брат умер, он был некрещёный, так что теперь — всё, конец ему?»

Тётя Люба чему-то усмехнулась.

— Какая-то глупая была! — обругала она саму себя. — Хотела подразнить: ну, скажите, скажите, что в аду ему быть вечно.

— Не сказал? — спросила брюнетка.

— Если бы сказал, так я бы, может, ушла. Нашла бы себе повод уйти... Надежда, говорит, есть всегда. Вон даже Шевчук поёт: «И никому нет конца, даже тем, кто не с нами». Так оно и есть. Мы никуда друг от друга не денемся. Пока человека кто-нибудь любит, он ещё живой.

— А что про брата-то сказали? — не выдержала подружка.

— Молиться, сказал. Я ему говорю: «А я не умею молиться, меня этому не учили». Как посмотрел он на меня будто на дурочку — да дура и есть! Вы что, говорит, добра ему не умеете пожелать? Я уже несколько вечеров говорю: «Господи, прости, прости и помилуй раба Твоего Виктора, передай ему, что я его люблю; и меня прости, и всех нас».

Подруга-брюнетка сочувственно покивала.

— Какая-то сила, конечно, есть, этого нельзя отрицать, — по-интеллигентски согласилась она.

— Какая сила? — раздражилась её непониманием тётя Люба. — На фига ты нужна силе? Силе на тебя плевать. Сила любить не умеет... А зачем жизнь без любви, а, Софьюшка?..

Дома я сказала маме:

— Ты знаешь, тётя Люба крестилась.

— Наконец-то, — ответила она. — Я тебя ещё в два года крестила. И ей тогда предлагала крёстной стать. Так она не захотела! Говорит: «Нет, Маша, я не буду!» На подарки, наверное, денег пожалела. Пришлось сестру свою попросить, они как раз с Витькой в гости приезжали.

Эти слова неприятно удивили меня, но вскоре я о них забыла.

Зимой на каникулы привезли Анютку, Марину и Виталию. Анютка, которой было уже пять лет, сам позвонила нам домой и позвала меня к телефону. — Тебя там, — бросила мама.

Я спустилась вниз. Детвора кинулась ко мне с криками радости. Я играла с ними в прятки, рассказала им сказку про то, как вода в море стала солёной. Пообещала, что буду приходить часто, подумав: в одной комнате с тремя детьми без помощи тётке будет тяжело.

Я сходила к ним один раз, два, три. Мама была явно недовольна моими визитами, хотя один раз я робко попыталась пригласить её с собой, да и сама тётя Люба по телефону как-то звала мою мать в гости. Однажды, когда я в очередной раз собралась идти вниз после звонка Анютки, мама бросила мне вслед саркастический комментарий: — Иди, иди... Девушка по вызову. Можешь не возвращаться.

Я попыталась отшутиться, однако на душе делалось тревожно. В этот раз я так же точно играла с детьми, пила чай, рассказывала уже в третий раз полюбившуюся Маринке сказку «про солёную

воду», но чувствовала себя неудобно и через час засобиравшись домой.

Мама не пустила меня в квартиру. Я звонила, стучала, но она повторяла одно:

— Иди откуда пришла. Там тебе лучше.

Постояв пару минут у входа, я поняла, что она долго не откроет, и поднялась наверх, на площадку между этажами. Удивительное дело, но плакать мне не хотелось и даже почти не было обидно. Я словно бы ожидала, что в конце концов произойдёт что-нибудь подобное.

На площадке было не так уж холодно. Я сняла с себя куртку и села на неё, сложив ноги по-турецки. Попыталась представить маму: что она делает сейчас? Смотрит, наверное, свой телевизор. Несколько месяцев назад она перестала мучить себя этими походами в офис и теперь располагает свободными вечерами. Но раньше она всегда знала, что её день забит до отказа и вечером будет всё то же мытьё полов. А сейчас? Что у неё могло быть сейчас?

Что у неё было, кроме меня?

У меня был институт, были мечты юности, были тётя Люба и её родные. У тётя Любы — шитьё, которое ей нравится, опять же родные да в придачу я. А у мамы была только я... Вернее, как была? Последние несколько лет — чисто номинально.

Смотря в узкое, низко расположенное окошко на наш освещённый ярким фонарём двор, я попыталась вспомнить время, когда мы с мамой были близки. До школы со мной сидела бабушка. В школе я очень привязалась к первой учительнице и к мальчику, с которым сидела за партой. Потом я крепко сдружилась с Ольгой и всё время ходила к ней домой. А потом стала ездить в Мальцево...

Я вдруг осознала, что уже давно мать жила, мучимая ревностью. Она ведь в самом деле очень хотела «дать ребёнку лучшее»: записала меня в хорошую школу, тщательно проверяла мои уроки, на накопленные с трудом деньги покупала мне красивую одежду, хорошие сумки и даже украшения. Я же не обращала никакого внимания на её подарки и жила своими книгами и мечтами...

Мама открыла мне дверь часа через полтора. Она, как всегда бывало в таких случаях, молчала и демонстративно отвернулась от меня. Сидя на площадке, я думала, что попробую заговорить с ней, скажу, что благодарна за всё. Но, увидев её хмурое лицо, неприступный взгляд, испугалась. Я так и не смогла преодолеть свой страх: мне казалось, мать не поверит ни единому моему доброму слову. И мы промолчали два или три дня, как обычно и происходило в подобных ситуациях.

Тётя Люба отметила свой день рождения спокойней, чем обычно. Гостей было меньше — только несколько подруг. Ели тушёную утку с яблоками, потом пили чай с моим любимым черёмуховым тортом. Мою маму она тоже пригласила. Я очень

боялась, что та откажется, но, к моему удивлению, она пришла, правда, почти всё время молчала и сидела не рядом со мной. Но это не особенно бросалось в глаза: маленькая брюнетка играла на гитаре, полная женщина с низким голосом пела романсы, и неловкой тишины не возникло даже на минуту.

Ранней весной тётя Люба уехала в Мальцево, жила там недели три и вернулась назад опять с девочками и Ленкой.

— Мы и Витальку забрали, он сейчас у Дашки живёт,— пояснила она.— Крестить детей хотим. И Лена крестится. Сашку-то в детстве крестили в райцентре, а Лена будет сейчас.

Лена уверенно кивнула мне.

— У Витальки крёстная будет Даша, у Анютки—я буду. Марине только ещё думаем кого.

Я ничего не ответила на эти слова, но сердце рвалось из груди, так что трудно было даже оставаться сидеть за столом. В молчании прошло больше минуты.

— Возьмите меня,— проговорила я, с надеждой глядя на Ленку.— Крёстной. Марине...

Крещение было назначено на субботу. Я долго думала, сказать всё-таки или не сказать маме; наконец уже почти собралась, но тут она обнаружила за мной какую-то недоделку, начала ругаться, и моя решимость куда-то улетучилась. Пришлось солгать, что я иду на занятия в институт. Эта лож камнем легла мне на душу, да ещё некстати всплыли в памяти мамины слова: «А она-то не захотела тебя крестить!»

Думая сделать себе легче, я спросила у тётя Любы:

— Это правда, что вы когда-то не захотели стать моей крёстной?

Она ничуть не смутилась:

— Конечно, правда. Тогда все крестились, Маша и тебя отвела. А я не понимала, зачем всё это нужно. Ради того, чтобы как все быть, что ли?

— А теперь понимаешь?— пытливо осведомилась Ленка.

— Не скажу, что очень понимаю... Но сердце тянется, ноги сами несут.

Уже у самых ворот храма она вдруг сказала мне: — Ты можешь отказаться, если хочешь. Это ведь на всю жизнь.

— Знаю,— отозвалась я и пообещала, что буду молиться за Марину.

В храме, кроме нас, оказались и ещё люди. Пожилой священник окинул нас долгим взглядом и сказал:

— Вы пришли сюда потому, что кого-то любите: своих детей, своих друзей. Хотите заботиться о них, помогать им. Один святой сказал: «Любовь к ближнему открывает нам Бога». Главное при этом— научиться любить самого человека, а не себя в нём, как часто бывает...

Мы втроём повторяли слова «отрекаюсь» и «сочетаюсь», смотрели, как помазывалась елеем вода в купели. Всё происходящее казалось мне не совсем реальным, но не похожим на кино или сон, а, наоборот, таким жизненным, будто раньше вокруг всё было раскрашено в глухие тона сепии, а тут засияло цветами.

В одной руке у Марины была свеча, которая горела длинным ровным пламенем, другой она крепко держалась за меня. «Вот моя крёстная дочь»,— думала я, сжимая её тонкие холодные пальчики.

На следующий день Лена с девочками уехала, забрала с собой детскую Библию и накопленные тётей Любой тоненькие книжечки. Маме я так ничего и не сказала. На июль я устроилась в лагерь вожатой, к августу вернулась, чтобы съездить на день рождения к Маринке и Илюхе, и тут-то правда обозначилась. Тётя Люба сказала, что Марина будет рада видеть свою крёстную, и мама недоуменно спросила:

— Какую крёстную?

Я, конечно, понимала, что этот факт когда-нибудь должен был открыться, и корила себя за то, что промолчала так долго, выставив в глупом свете ещё и тётю Любу.

Мама, по обычаю, не разговаривала со мной пару дней, а потом подошла вплотную и, посмотрев прямо в глаза, сказала:

— Какая же ты глупая. Ездил к ним, работала бесплатно, с детьми ихними сидела. А что уж такого хорошего они-то тебе сделали? Бутылку шампуня подарили? Картошки да тыквы? Кинули тебе кость, ты, как собака, и побежала.

Мне стало обидно:

— Это не кость... И вообще, может быть, я их люблю.

Мама презрительно хмыкнула:

— Любишь... Только я у тебя никто. Маленькая была— другие дети бегут навстречу к родителям, смеются, спрашивают: «Что купили?» Ты же только в своём углу с книжками сидела и ничего не просила. Мимо меня проходила, как тень.

— Но я же помогала, если ты просила.

— А если не просила, то и не помогала. А когда я болела, так ты ни разу ко мне не подошла, не пожалела.

Меня укололо: это была чистая правда. Когда мама недомогала, я обычно просто уходила дальше и только по распоряжению могла что-то для неё сделать.

Мне стало жаль её, я вдруг увидела, что она немолодая, нездоровая и совсем одинокая. Я потянулась к ней, чтобы обнять, забыв наконец про всякие опасения, но она решительно сбросила мои руки с себя.

Подумав, я передала в общих чертах наш разговор тётя Любе. Она ничего толком не ответила,

только задумчиво покивала, и я сильнее встревожилась, подумав, что теперь она может сделать свои выводы и перестать со мной общаться—по крайней мере, на время.

Но за несколько дней до моего дня рождения, в сентябре, она зашла к матери, держа в руке какой-то пакет.

— Здравствуй, Маша,— сказала она, не проходя дальше порога.— А я вот хочу тебя с праздником поздравить.

— С каким это?— не поняла моя родительница.

— С днём рождения твоей дочери. Не твой разве это праздник?

— Мой,— не очень уверенно согласилась мама.

— А если праздник, тогда нужен и подарок. А какой для женщины подарок лучше, чем платье?

Мама удивлённо посмотрела на тётю Любу, ещё, наверное, ничего не понимая.

— Не хочешь ли ты себе платье на день рождения твоей дочери?— с самым непринуждённым видом поинтересовалась тётя Люба.

— Хочу... Да что ты стоишь-то? Заходи, заходи! А стоит сколько?

Тётя Люба скорчила рожу, явно показывающую, что о таком предмете, как деньги, не стоит беспокоиться.

— Подарок, Маша! По-да-рок!— подмигнув мне, чётко выговорила она.

Мама, которая редко покупала себе вещи, с удовольствием позволила снимать с себя мерки, рассказывала, какой хотела бы фасон.

— Матерьял-то какой!— тётка любовно гладила шелковистую ткань.

Они пустились в воспоминания двадцатилетней давности, незаметно от фасонов платьев перейдя на моё рождение.

— Помнишь, солнце-то было, Маша? До этого всё дожди, а тут как лето вернулось.

— Так это и было бабье лето.

— Оно не каждый год бывает,— стояла на своём тетя Люба.— Берёзы золотиться начали. Красивый был день! И девка наша красавица. И добрая.

— Только мне слова доброго не сказала,— грустно усмехнулась мама.

— Ну так ты ей скажи! Скажи: доченька, милая, звёздочка! Давно ты так говорила?

— Когда маленькая была, говорила, а она молчит.

— И... биться сердце перестало!— сдержанно выругалась тётя Люба.— Какие вы упрямые обе! Что ты вспоминаешь когда-то давно?! Ты скажи здесь, сейчас!

Мама сконфуженно улыбнулась и сказала мне давно не слышанное:

— Доченька...

Я, тоже глупо растягивая губы в улыбке, смотрела на маму и тётку, сидящих рядом на диване.— Что стоишь? Чай неси!— шутливым тоном приказала мне тётя Люба.

К Новому году мать сама напомнила мне, что надо приготовить подарок для крестницы. Перецисляя вслух, что можно было бы ей подарить и где это купить, мама вдруг перебила саму себя:

— И зачем ты на это согласилась? Ведь в старину знаешь как было? Когда родители у ребёнка умирали, то его крёстные воспитывали! Ты это знаешь?!

Я дрогнувшим голосом отозвалась:

— Знаю.

Мама какое-то время пристально глядела на моё лицо, потом махнула рукой:

— Блаженная!

Несколько лет промелькнуло цветными кадрами фильма, я стала учителем, как того хотела, и в один погожий день ранней весны возвращалась со своими учениками из музея-усадыбы Юдина, что на склоне Афонтовой горы. Солнечный свет масляно лился на потемневший ноздреватый снег, который лежал на холмах, на покатые шиферные крыши. Мы поднялись на возвышенность, на площадку, откуда с правой стороны были видны железно-дорожные пути и старые узкие улочки слободы Николаевки. С левой стороны от нас деревянных домов почти не было: прямо напротив места, где мы стояли, разравнивали землю экскаватором, а чуть поодаль высились ровные ряды нарядных высоток, розовых и жёлтых, как именинный торт.

Я с сожалением посмотрела в ту сторону, где оставались тесовые домики с шиферными крышами, и было слышно, как лают собаки и радостно визжат катающиеся с горы ребятишки. Это место не было деревней, но сильно напомнило мне Мальцево и всё то, что было со мной в Мальцево за четыре года юности.

— Жаль, что больше не будет таких домиков, как эти,— сказала я одному своему ученику, с которым мы немного ушли вперёд от остальных.

— Не стоит жалеть,— решительно возразил он.— Вы же не хотите, чтобы в двадцать первом веке люди брали воду из колонки, жили в деревянных развалюхах? Это всё прошлое, жизнь идёт вперёд.

Мне пришлось с ним согласиться. Мой ученик поправил пальцем очки и достал телефон, чтобы издалека сфотографировать вокзал. Я ещё не раз обернулась назад, к тем домикам. Не выгребные ямы, колодцы и дрова мне было жаль, и не по ручной стиральной доске я скучала, вспоминая Мальцево. Я, никогда не бывшая деревенской, видела, что чем теснее грудятся люди в новых домах «китайской» застройки, тем, по какому-то парадоксальному закону, они сильнее становятся друг другу чужими. Нарядно одетая родительница одной моей ученицы ругала свою дочь за то, что та несколько раз водила домой подружку из бедной семьи: в гости ходить— неприлично, нечего рассматривать чужое житьё-бытьё. Иные мои знакомые всерьёз говорят, что дружить сейчас

в городе некогда, времени едва хватает на себя да на семью, если, конечно, успел и сумел в круговерти реальных и мнимых дел её завести.

Не повернуть времени вспять, не сохранить нам, наверно, «хижины хилые с поджиданьем седых матерей», но остаётся надеяться, что когда-нибудь

люди, пресытившиеся изобилием торговых центров, предоставляемых всеми и всюду услуг, стоскуются по простой жизни, в которой каждый — такой, как он есть, а не каким хочет казаться в картинках «Инстаграма». И будут тогда новые деревни, в которых радости и горести — одни на всех.